



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### **Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

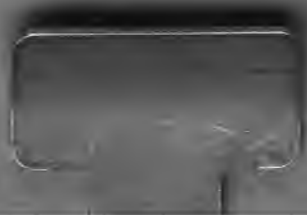
### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

UC-NRLF



QB 502 162







# Arenarius.

# УЧЕНИЧЕСКІЕ ГОДЫ ГОГОЛЯ.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ ТРИЛОГІЯ

**В. П. Авенаріуса.**

---

**I. Гоголь-гимназистъ.**

**II. Гоголь-студентъ.**

**III. Гоголь въ школѣ жизни.**



# ГОГОЛЬ-ГИМНАЗИСТЪ.

БЮГРАФИЧЕСКАЯ ПОВѢСТЬ.

---

Съ 8 портретами и видами.

Изданіе второе.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Изданіе книжнаго магазина П. В. Луновникова. Лештуковъ пер., д. 2



Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 8 Августа 1896 г.

Тип. Высочайше утв. Товарищ. «Обществен. Польза», Б. Подъяч., № 39

PZ63  
AV4U25  
v.1

## ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стр.
Предисловіе . . . . .	1
Глава I. Дамокловъ мечъ и разстрига Спиридонъ . . . . .	1
» II. Какъ была подстрѣлена ласточка . . . . .	13
» III. У Юпитера-Громовержца . . . . .	32
» IV. Дошутился . . . . .	51
» V. Умоизступленіе или притворство? . . . . .	61
» VI. Новый другъ, но лучше ли старыхъ двухъ? . . . . .	73
» VII. Какъ былъ пущенъ «гусаръ». . . . .	88
» VIII. На вакаціи! . . . . .	101
» IX. Въ родномъ гнѣздѣ . . . . .	113
» X. Васильевская Аркадія . . . . .	128
» XI. Семейная хроника. . . . .	138
» XII. Генеральная репетиція «Простака». . . . .	153
» XIII. Читатели знакомятся съ самимъ «кибинц- скимъ царькомъ» . . . . .	166
» XIV. За бортомъ . . . . .	181
» XV. Доморощенный финаль. . . . .	188
» XVI. Медвѣдь танцуетъ. . . . .	195
» XVII. Горе надвигается . . . . .	204
» XVIII. Осиротѣль . . . . .	212

563656

## Портреты и виды.

	Стр.
1. Нѣжинская гимназія высшихъ наукъ князя Безбо- родко . . . . .	1
2. Портретъ А. С. Данилевскаго . . . . .	14
3. Портретъ И. С. Орляя . . . . .	48
4. Старый Нѣжинъ. . . . .	88
5. Старый господскій домъ въ с. Васильевкѣ. Сни- мокъ съ собственноручнаго рисунка Гоголя. . . . .	113
6. Портретъ М. И. Гоголь . . . . .	116
7. Портретъ Д. П. Трошинскаго . . . . .	173
8. Васильевка съ полтавской дороги . . . . .	204

---

## ПРЕДИСЛОВІЕ.

---

Написавъ біографію Пушкина-лицеиста въ повѣствовательной формѣ («Отроческіе» и «Юношескіе годы»), я, естественно, долженъ былъ увлечься мыслью—рассказать въ такой-же формѣ и объ ученическихъ годахъ Гоголя. Задача эта была однакоже значительно труднѣе: не говоря уже о томъ, что самая личность Гоголя, этого замкнутаго въ себѣ флегматика-нелюдима, не могла вызывать у читателей того-же невольнаго сочувствія, какъ личность Пушкина, натуры открытой, прямой и пылкой, литературные опыты Гоголя на школьной скамьѣ были очень посредственны и не давали повода никому изъ близкихъ ему людей (кромѣ одной только родной матери) подозрѣвать въ немъ будущаго гениальнаго писателя. Кромѣ того, свѣдѣнія о его пребываніи въ родительскомъ домѣ и въ школѣ были такъ отрывочны и, повидимому, скудны, что даже вполне компетентные судьи въ составленіи біографій высказывали мнѣ сомнѣніе о возможности написать цѣлую повѣсть изъ молодости Гоголя. Между тѣмъ, въ дѣйствительности, изъ этого времени его жизни отыскалось столько цѣнныхъ, какъ печатныхъ, такъ и устныхъ матеріаловъ, особенно со времени появленія въ свѣтъ капитальнаго труда В. И. Шенрока: «Матеріалы для біографіи Гоголя», что мнѣ нельзя было уже ограничиться не только одною повѣстью, но и двумя. Первые двѣ обнимаютъ время пребыванія Гоголя въ нѣжин-

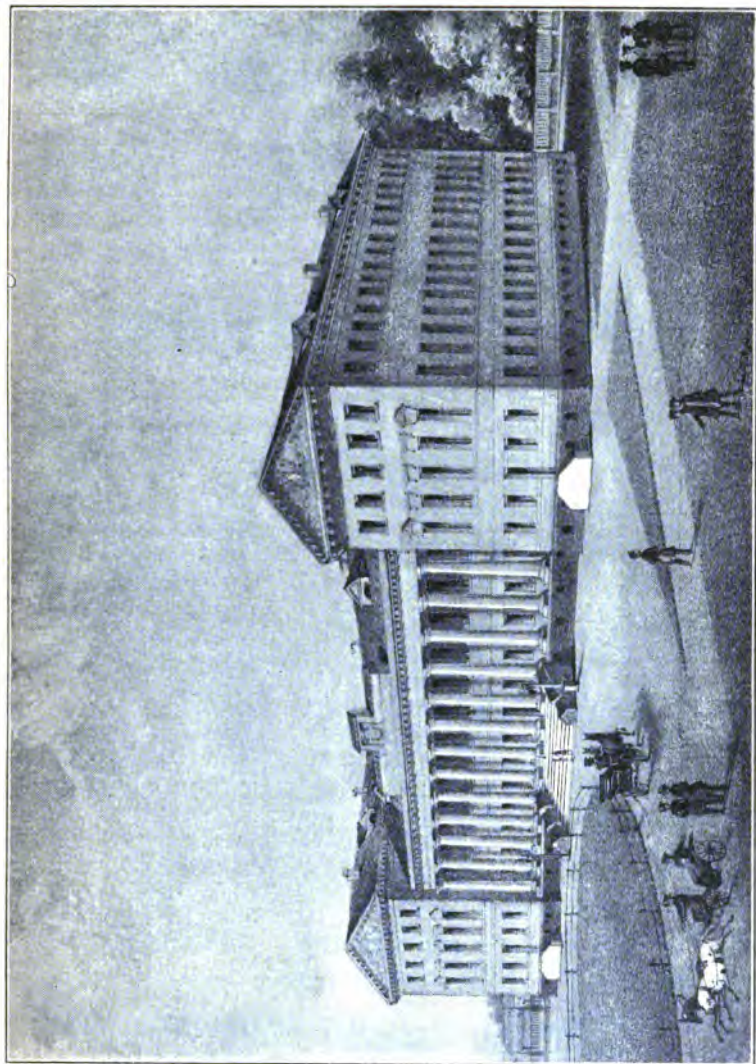
ской «гимназіи высшихъ наукъ» («Гоголь-гимназистъ» и «Гоголь-студентъ»). Но такъ какъ, по выходѣ своемъ оттуда, онъ въ области литературы оставался тѣмъ-же «ученикомъ», то третьему періоду его «ученическихъ годовъ», именно «школѣ жизни», окончательно выработавшей его скрытый талантъ, посвящается еще особая повѣсть. Перечень главнѣйшихъ источниковъ, которыми я пользовался для всей трилогіи, будетъ въ свое время помѣщенъ въ концѣ этой третьей повѣсти.

Предлагаемую здѣсь первую повѣсть, по отпечатаніи ея въ журналѣ «Родникъ», я счелъ нужнымъ для отдѣльнаго изданія еще существенно переработать.

Въ заключеніе не могу не выразить глубокой признательности А. О. Бычкову, В. И. Шенроку, Н. В. Быкову, Ф. Ф. Гельбке и А. В. Дабіашу за оказанное въ моемъ трудѣ любезное содѣйствіе и за предоставленіе въ мое распоряженіе нѣсколькихъ портретовъ дѣйствующихъ въ моемъ разказѣ лицъ, фотографическихъ снимковъ съ описываемыхъ въ немъ зданій и мѣстностей, а также одного собственноручнаго рисунка Гоголя.

Спб., октябрь 1896 г.

В. А.



**Нѣжинская гимназія высшихъ наукъ нн. Безбородко.**





## ГЛАВА I.

### Дамкловъ мечъ и разстрига Спиридонъ.

**Н**ачало дѣйствія настоящаго разсказа—минутъ двадцать до полудня 12 декабря 1823 года; мѣсто дѣйствія — отдѣленіе грамматистовъ французскаго языка гимназіи вышшихъ наукъ князя Безбородко въ городѣ Нѣжинѣ, Черниговской губерніи.

Но что такое были эти отдѣленія «грамматистовъ»? Хотя девятилѣтній курсъ Нѣжинской гимназіи и состоялъ изъ 9-ти годичныхъ классовъ: 6-ти гимназическихъ и 3-хъ университетскихъ, но такое дѣленіе касалось однихъ только научныхъ предметовъ. По языкамъ воспитанники дѣлились на 6 отдѣленій, совершенно независимыхъ отъ научныхъ классовъ, а именно: на принципистовъ (обучающихся началамъ языка), грамматистовъ (обучающихся этимологіи), синтаксистовъ, риторовъ, пѣтговъ и эстетиковъ (обучающихся эстетикѣ по классическимъ образцамъ); причемъ для полученія аттестата объ



окончаніи полнаго курса достаточно было по языкамъ пройти четыре отдѣленія.

Такимъ образомъ, на урокъ грамматистовъ французскаго языка, съ котораго начинается нашъ рассказъ, помѣщались мирно рядомъ равноуспѣшныя въ этомъ языкѣ ученики 2-го, 3-го, 4-го и даже 5-го класса научнаго курса.

Въ числѣ этихъ-то пятиклассниковъ былъ и сидѣвшій на задней скамейкѣ четырнадцатилѣтній подростокъ, блѣднолицый, съ задумчиво-апатичнымъ взоромъ, съ нависшими на лобъ длинными бѣлокурыми волосами и съ острымъ ястребинымъ носомъ. По гимназическимъ спискамъ онъ значился Николаемъ Гоголемъ-Яновскимъ; товарищи же и преподаватели называли его попросту Яновскимъ. Ни тѣмъ, ни другимъ, разумѣется, и въ голову не могло прійти, что изъ этого необщительнаго, лѣниваго и тѣломъ и духомъ человѣчка, напоминавшаго о себѣ другимъ развѣ какою-нибудь не совсѣмъ безобидною шалостью, выработается великій писатель-юмористъ.

Пока профессоръ, Жанъ-Жакъ Ландражёнъ, а въ нѣжинскомъ переводѣ Иванъ Яковлевичъ Ландражинъ, молодой еще французъ, съ свойственною его нации живостью и даже съ увлеченіемъ толковалъ сидѣвшимъ передъ нимъ на передней скамьѣ лучшимъ ученикамъ сухія грамматическія правила, облакая ихъ для большей разумительности въ разговорную и повѣствовательную форму,—на задней скамьѣ между Гоголемъ и сосѣдомъ его, Риттеромъ, воспитанникомъ

4-го класса, шель вполголоса совершенно посторонній разговоръ.

— Ну, что же, барончикъ?—говорилъ Гоголь.— Или храбрости не хватаетъ? А еще Ritter, остзейскій лыцарь!

— Храбрости у меня хватить и не на такую штуку, — отвѣчалъ Риттеру, голубые глаза на-выкатѣ и пухлыя розовыя щечки котораго однако гораздо болѣе напоминали вербнаго херувимчика, чѣмъ закаленнаго въ бою рыцаря.— Но за что же обижать Ландражина? Онъ всегда вѣжливъ съ нами, никогда не бранится...

— И колами награждаетъ!

— А тебѣ бы, небось, четверки, когда и въ зубъ толкнуть не знаешь \*)?

— Перестанете ли вы трещать, господа? — тихонько укорилъ болтуновъ сидѣвшій по другую руку Гоголя пріятель его, четырехклассникъ Прокоповичъ, здоровенный малый съ густымъ румянцемъ во всю щеку, за что получилъ отъ Гоголя прозвище «Красненькій».

— Годи, годи, мое серденько, самъ еще съ нами насмѣшься, — отозвался Гоголь и обратился снова къ Риттеру:— вотъ что я тебѣ скажу, Мишель: коли угодишь въ потолокъ надъ самой его макушкой, можешь взять, такъ и быть, за чаемъ мою булку; а промахнешься, такъ отдашь мнѣ свою. Идетъ?

---

\*) Въ Нѣжинской гимназіи высшимъ балломъ было 4.

— Идетъ, — сдался наконецъ Риттеръ, и досталъ изъ стола заранѣе разжеванный клякспапиръ и заостренное гусиное перышко.

Но бумажная жвачка успѣла уже пересохнуть и не давала хорошенько проткнуть себя перышкомъ. Риттеръ сунулъ ее себѣ въ ротъ.

— Вы что это, Риттеръ, закусывать изволи-те? — окликнулъ его вдругъ профессоръ.

Вопросъ былъ сдѣланъ, какъ всегда, по-французски. Прибывъ въ Россію изъ Франціи въ 1812 году съ Наполеоновскою арміею, Ландраженъ не вернулся уже на родину, а пристроился въ могилевскомъ губернскомъ правленіи помощникомъ переводчика; вскорѣ же, найдя болѣе выгоднымъ педагогическое поприще, онъ сталъ преподавать свой родной языкъ сперва въ частныхъ домахъ, а потомъ и въ учебныхъ заведеніяхъ. Съ 1822 года онъ состоялъ младшимъ профессоромъ французской словесности въ Нѣжинской гимназіи, а также и хранителемъ гимназической библіотеки, которую старался пополнять, конечно, только французскими книгами. Благодаря этому, многіе воспитанники, охотники до чтенія, говорили уже свободно по-французски. Гоголь, хотя и любившій читать, но однѣ русскія книги, и Риттеръ, ничего никогда не читавшій, не принадлежали къ числу этихъ знатоковъ французской рѣчи и потому отвѣчали профессору всегда по-русски. Ландраженъ имъ въ этомъ не препятствовалъ: на нѣтъ и суда нѣтъ, — но отмѣтками ихъ, понятно, не баловалъ.

На окликъ профессора, Риттеръ проворно вынулъ изо рта свою жвачку и привсталъ съ мѣста.

— Я ничего, Иванъ Яковлевичъ.

— Слышали вы, что я сейчасъ объяснялъ?

— Слышалъ-съ.

— Такъ повторите.

Риттеръ безмолвствовалъ.

— Вы, можетъ-быть, и слышали, да не слушали. Покажите-ка сюда вашу тетрадку.

— Я, Иванъ Яковлевичъ, забылъ ее въ музеѣ.

«Музеями» назывались рабочіе залы пансіонеровъ, гдѣ они готовили уроки къ слѣдующему дню, и помѣщались вмѣстѣ съ классными комнатами во второмъ этажѣ гимназическаго зданія.

— Эта забывчивость у васъ просто хроническая, — замѣтилъ Ландраженъ. — Ну, что, еслибы всѣ вы, 200 человѣкъ, забывали этакъ свои тетради?

— А вотъ сейчасъ высчитаемъ, что бы изъ сего вышло, — сказалъ Гоголь и сталъ какъ-бы считать по пальцамъ: — по 4 урока въ день, это составило бы на 200 человѣкъ 800 тетрадей, а въ годъ 800, помноженные на 365 или, для краткости, на 300, — 240.000! Легко сказать: провѣрить 240.000 тетрадей! Лучше ужъ прямо въ гробъ ложись и помирай.

Ландраженъ нѣсколько разъ порывался остановить школьника, и наконецъ топнулъ ногой и громко крикнулъ:

— Eh bien, Яновскій! .

Точно рѣчь шла не о немъ, Гоголь съ ви-

домъ недоумѣнія оглядѣлся по сторонамъ: кого, дескать, это разумѣтъ профессоръ.

— Гоголь-Яновскій! — повторилъ тотъ. — Что вы оглохли или забыли свою фамилію?

— Такъ это вы меня называли Яновскимъ? — съ наивнымъ удивленіемъ спросилъ школьникъ и неспѣшно приподнялся.

— А то кого же?

— Родовая моя фамилія — Гоголь; а Яновскій — только такъ, приставка: ее поляки выдумали.

Молодой профессоръ чуть-чуть улыбнулся.

— Но сосѣдъ вашъ, Риттеръ, напр., откликается и на такія приставки, — сказалъ онъ: — сколько мнѣ извѣстно, онъ простой остзейскій фонъ, а вы величаете его и барономъ.

— О! у него, какъ у милаго ребеночка, этихъ ласкательныхъ именъ хоть отбавляй: барончикъ Доримончикъ, фонъ-Фонтикъ-Купидончикъ, Мишель-Дюсенька, Хопцики... А у испанцевъ онъ величался бы Донъ-Мигуэль-Перець-Аликанте-Малага-Хересь-де-ла-Фронтера-Экстра-ма-дура-де-ль-Азиносъ-комплетосъ.

При всемъ своемъ благодушіи, Иванъ Яковлевичъ не выносилъ слишкомъ большой фамильярности со стороны учениковъ. Онъ коротко призвалъ шутника къ порядку и затѣмъ обратился снова къ своимъ грамматическимъ разъясненіямъ. Но не прошло минуты времени, какъ съ задней скамьи, черезъ головы впереди сидящихъ, взвился

въ вышину самодѣльный метательный снарядъ и присталь къ потолку, какъ разъ надъ профессорскою каедрой.

Изъ уваженія къ любимому профессору, молодежь во время шутливаго разговора съ нимъ Гоголя сдерживала еще свою веселость: теперь на всѣхъ скамьяхъ разомъ зафыркали, заржали. Еслибы Ландраженъ самъ и не догадывался, въ чемъ дѣло, то устремленные на одну точку потолка взоры воспитанниковъ выдали бы ему, гдѣ искать разгадку. Онъ поднялъ голову и вспыхнулъ: надъ самымъ теменемъ его повисло на жвачкѣ перышко, продолжавшее еще колебаться. Онъ быстро всталъ и спустился съ каедры.

— Это *вы* опять отличились, Риттеръ?

Черные угольки глазъ самолюбиваго француза метали такія искры, что у Риттера душа въ пятки ушла.

— Нѣтъ-съ, это не я-съ... запинаясь, пролепеталъ онъ.

— Не вы? правда?

— Правда-съ... Ей-богу!

— Эхъ ты, горе-богатырь! Еще божится!— вполголоса попрекнулъ его Гоголь, а затѣмъ произнесъ громко:— Это я, Иванъ Яковлевичъ.

— Вы, Яновскій? Скажите на-милость, что это такое?

Гоголь взглянулъ въ вышину, куда былъ грозно направленъ указательный палецъ молодого профессора.

— Это— Дамокловъ мечъ, *le sabre de Damoclès*.

Кто-то хихикнул: но огненный взгляд профессора въ сторону смѣшливаго словно ожегъ весь классъ. Все кругомъ виновато замерло; можно было бы разслышать полеть мухи.

— Говорять не «le sabre», а «le glaive» или «l'érée de Damoclès», — счель нужнымъ предварительно поправить ученика Ландраженъ и кстати тутъ-же привелъ цитату изъ Беранже:

— «De Damoclès l'érée est bien connue;  
En songe, à table, il m'a semblé la voir...» \*)

Затѣмъ не столько уже съ досадой, сколько съ грустью прибавилъ:

— Дамокловъ мечъ висить — точно, но надъ вашею же головою!

Въ это время съ коридора донесся звонокъ, возвѣщавшій большую перемѣну. Ландраженъ махнулъ рукой и повернулся къ выходу; но на порогѣ еще разъ обернулся и кивнулъ головой на потолокъ:

— Уберите-ка это, господа.

Пока пріятель Гоголя, Прокоповичъ, отличавшійся если и не особеннымъ прилежаніемъ, то благонравіемъ, взлѣзъ на кафедру, чтобы снять съ потолка неумѣстное украшеніе, самъ Гоголь въ толпѣ товарищей вышелъ въ коридоръ, куда высыпали уже воспитанники и изъ другихъ классовъ. «Дамокловъ мечъ» далъ обильную пищу

---

\*) Дамокловъ мечъ хорошо извѣстенъ, онъ привидѣлся мнѣ во снѣ за столомъ...

для общихъ споровъ и пересудовъ. Одни обвиняли самого «барончика» какъ за его шалость, такъ еще болѣе за выказанную затѣмъ трусость; другіе взваливали главную вину на подстрекателя, Яновскаго, потому что барончикъ—де не выдумалъ бы пороха. еслибы даже былъ самимъ Бертольдомъ Шварцемъ.

— Яновскій и такъ вѣдь взялъ уже вину на себя, — вступился за пріятеля Прокоповичъ.

— Это не оправданье, это только смягчающее обстоятельство! — съ важностью вмѣшался тутъ въ разговоръ семиклассникъ — «студентъ» — Бороздинъ 1-й, приземистый, но плотный, круглолицый юноша, стриженный почти наголо, отчего лицо его казалось еще круглѣе. — Мнѣ жаль, главное, Ландражина: онъ — душа-человѣкъ и велъ себя въ этомъ случаѣ, какъ вы сами, господа, говорите, со всегдашнимъ благородствомъ и тактомъ...

— Ну, да, да! — перебилъ его пятиклассникъ Григоровъ, самый отъявленный школьникъ. — Но тебѣ-то что до нашего семейнаго дѣла, разстрига Спиридонъ? Въ чужой монастырь съ своимъ уставомъ не ходятъ.

— Во-первыхъ, я не разстрига, а студентъ и сынъ полковника, — вскинулся Бороздинъ; — во-вторыхъ, зовутъ меня не Спиридономъ, а Федоромъ, какъ вамъ всѣмъ и безъ того извѣстно. Ярлыки, которые навѣшиваетъ намъ Яновскій, часто вовсе не остроумны.

— Ну, на свой-то тебѣ нечего жаловаться: по Сенькѣ и шапка, по фляжкѣ — ярлыкъ. Поглядишь—



ка въ зеркало: чѣмъ ты не разстрига? Такъ вѣдь, господа?

— Такъ! такъ!— со смѣхомъ подхватило нѣсколько голосовъ.

— Мы, трое братьевъ, стрижемся подъ гребенку по примѣру отца... началъ-было объяснять «разстрига».

Гоголь, до сихъ поръ молча прислушивавшійся къ пересудамъ товарищей, принялъ какъ-будто его сторону:

— А по писанію: чти отца и мать свою. Ктому же, господа, нынче онъ вѣдь именинникъ; а обижать именинника грѣшно.

— Какъ именинникъ?

— Да вѣдь какое сегодня число?

— 12-е декабря.

— Ну, а это—день ангела Спиридона.

— Поздравляемъ, Спиридонушка, поздравляемъ! Дай ручку пожать! Не будетъ ли угощенья?—посыпались на «именинника» съ разныхъ сторонъ незаслуженныя насмѣшки.

— Meine Herren, zu Tisch! zu Tisch! (Господа, въ столовую!)—раздался по коридору звонкій теноръ надзирателя — нѣмца Зѣльднера, и гимназисты веселою гурьбой повалили къ лѣстницѣ, ведшей въ нижній этажъ, гдѣ помѣщалась столовая съ кухней, а также канцелярія, квартиры главнаго гимназическаго начальства (попечителя и директора), лазаретъ и церковь.

— Тебѣ, Яновскій, это такъ не сойдетъ!—бросилъ Бороздинъ на-ходу Гоголю.

— И тебѣ тоже,—быль отвѣтъ.

Со стороны Бороздина сказано было это едва ли серьезно: ему, «студенту», строить какія-либо каверзы противъ гимназиста, а тѣмъ болѣе «фискалить» по начальству совсѣмъ не пристало. Но Гоголя, видно, подзадорила угроза студента, и, всегда уже молчаливый, онъ за обѣдомъ очень неохотно отвѣчалъ на разспросы сидѣвшаго рядомъ съ нимъ лучшаго друга своего, Данилевскаго. Послѣдній, также пятиклассникъ, обогналъ его однако во французскомъ языкѣ, состоялъ уже въ числѣ «синтаксистовъ» и потому не былъ свидѣтелемъ ни сцены своего друга съ Ландражевымъ, ни стычки его съ Бороздинымъ.

— Ты мнѣ объясни все толкомъ,—говорилъ онъ.—Судя по тому, что мнѣ передавали другіе, ты, братецъ, кругомъ неправъ.

— Неправъ медвѣдь, что корову съѣлъ, неправъ и корова, что въ лѣсъ зашла.

И Гоголь уткнулся опять въ тарелку. Послѣ же обѣда, когда остальные пансіонеры разбрелись по своимъ «музеямъ» «для свободнаго приготовленія къ послѣобѣденнымъ классамъ безъ обремененія вольности отдохновенія» (какъ значилось въ ихъ школьномъ регламентѣ), онъ, поднявшись также по лѣстницѣ во второй этажъ, но не дойдя до своего музея, остановился у окошка, выходявшаго въ великолѣпный, но занесенный теперь снѣгомъ казенный садъ, и такъ углубился въ свои мысли, что даже не слышалъ, какъ сзади подошелъ къ нему опять Данилевскій.

— О чемъ задумался, Никоша? — спросилъ тотъ: — вѣрно, замечтался уже о веснѣ, когда можно будетъ снова гулять по этимъ тѣнистымъ аллеямъ...

Гоголь загадочно улыбнулся.

— Мои мечты гораздо прозаичнѣе и ближе, — проговорилъ онъ: — я мечтаю о сюрпризѣ для дорогого именинника, о золотомъ яичкѣ на серебряномъ блюдѣ.

— Для какого именинника? Для Бороздина?

— Для Спиридона, да.

— Да что онъ тебѣ сдѣлалъ, скажи пожалуйста?

— Что сдѣлала ласточка стрѣлку, который бьетъ ее налету? Я стрѣляю ласточекъ тоже не изъ-за нихъ самихъ, а чтобы провѣрить мѣткость своего глаза.

— Ну, и какую пулю ты отлилъ на эту ласточку? Мнѣ-то, другу, можешь, кажется, повѣрить.

— А молчать ты умѣешь?

— Умѣю.

Гоголь потрепалъ любопытствующаго по плечу и лукаво подмигнулъ однимъ глазомъ:

— Хорошо, братъ, дѣлаешь. И я тоже умѣю.

Послѣ чего повернулся къ нему спиною и оставилъ его стоять съ разинутымъ ртомъ.





## ГЛАВА II.

### Какъ была подстрѣлена ласточка.



ружба между обоими завязалась еще съ ранняго дѣтства. Отцы ихъ, прошедшіе вмѣстѣ Кіевскую духовную академію, жили и впослѣдствіи не особенно далеко одинъ отъ другого: отъ Яновщины, или Васильевки, имѣнія Гоголей-Яновскихъ, до Семеренекъ, имѣнія Данилевскихъ, было не болѣе 30-ти верстъ. О первой встрѣчѣ своей съ Сашей Данилевскимъ въ памяти Гоголя сохранились слѣдующія подробности: когда Саша, совершеннымъ еще малюткой, былъ привезенъ впервые своимъ отцомъ въ Васильевку, самъ онъ, Никоша, лежалъ больной въ постели. такъ что съ маленькимъ гостемъ могъ играть только Ваня (младшій братъ Гоголя), причемъ оба усердно угощались клюквой, которой Саша никогда раньше еще не ѣдалъ. Въ 1818 году всѣ трое были отданы въ Полтавскую гимназію, гдѣ пробыли вмѣстѣ два года. Но тутъ Ваня захворалъ и умеръ; Никоша

быль взять домой и затѣмъ, въ августѣ 1821 года, помѣщенъ во вновь открытую въ Нѣжинѣ гимназію высшихъ наукъ князя Безбородко. Туда жѣ, годъ спустя, перешель и Данилевскій. Здѣсь дружескія отношенія двухъ однолѣтковъ \*) и одноклассниковъ возобновились, и съ-глаза на-глазь они звали другъ друга попрежнему Никошей да Сашей, какъ называли ихъ дома «свои».

Естественно, что Данилевскаго болѣе, чѣмъ кого-либо изъ другихъ гимназистовъ, должно было интересовать «золотое яичко», которое готовилось Гоголемъ «имениннику». По живости своего нрава, въ противоположность флегматику Гоголю, охотно всегда участвуя не только во всѣхъ играхъ, но и въ школьныхъ продѣлкахъ товарищей. Данилевскій относился болѣе критически къ скрытнымъ затѣямъ своего друга, нерѣдко, какъ сказано, выходявшимъ за предѣлы невинной шутки, и не разъ уже выручалъ проказника-тихоню отъ заслуженнаго наказанія. Сегодня онъ также нашелъ нужнымъ не упускать его изъ виду и сталъ издали наблюдать за нимъ. Гоголь, очевидно, рѣшился немедля привести свой таинственный планъ въ исполненіе. Пройдя въ музей, онъ открьлъ тамъ свой шкапчикъ (у каждаго пансіонера имѣлся въ музеѣ свой собственный шкапчикъ вышиною въ полтора аршина, окрашенный бѣлою краской), досталъ оттуда два листа

---

\*) Гоголь род. 19 марта 1809 года, а Данилевскій—28 августа того же года.



Александръ Семеновичъ  
ДАНИЛЕВСКІЙ

въ 1850-хъ годахъ.



рисовальной бумаги и скляночку гумми-арабика, присѣлъ къ своему столу и сталъ склеивать листы краями.

«Гм! значить, карикатуру опять намалюеть», — сообразилъ Данилевскій.

Но другъ его свернулъ уже свой двойной листъ трубкой и вышелъ обратно въ коридоръ, а оттуда на лѣстницу, чтобы подняться въ третій этажъ, гдѣ находились спальни. Войдя въ спальню своего — «средняго» — возраста (воспитанники дѣлились на три возраста), онъ воззвалъ нараспѣвъ:

— «Ой, Семене, Семене,  
Ходи, сердце, до мене!»

На зовъ его, какъ по щучьему велѣнью, тотчасъ показался съ другого конца спальни дядька Симонъ.

Симонъ былъ спеціальнымъ дядькой Гоголя. Въ первое время по открытіи Нѣжинской гимназіи, учебное начальство было въ большомъ затрудненіи приискать достаточное число надежной прислуги и, потому, не препятствовало воспитанникамъ имѣть при себѣ дядекъ изъ своихъ крѣпостныхъ людей. Такъ и старикъ Симонъ, состоявшій до тѣхъ поръ дворовымъ поваромъ въ Васильевкѣ, попалъ въ Нѣжинъ дядькой къ своему паничу. Къ новымъ обязанностямъ своимъ онъ отнесся со всею беззавѣтною преданностью, какою въ тѣ патріархальныя времена отличались крѣпостные «хорошихъ» господъ къ числу каковыхъ господъ безспорно принадлежали и роди-



тели Гоголя. Въ началѣ пребыванія въ Нѣжинѣ, когда дичокъ-паничъ сильно тосковалъ еще по родному дому и, ложась спать, всякій разъ, бывало, заливался слезами, Симонъ цѣлыя ночи напролетъ просиживалъ на табуретѣ у изголовья плачущаго и шепотомъ урезонивалъ безутѣшнаго, но обыкновенно достигалъ своей цѣли только при помощи припасенной на всякій случай «бонбошки». Понемногу мальчикъ, правда, обжился въ чужой обстановкѣ; но Симонъ, это единственное наличное звено, связывавшее его съ родительскимъ домомъ, былъ ему попрежнему «свой человѣкъ», которому безъ оглядки можно было довѣрять самыя конфиденціальныя порученія.

— Что треба паничу? — недовольнымъ тономъ спросилъ Симонъ. — Знать, всѣ бонбошки опять вышли? Денегъ у меня ни гроша уже не осталось, — лучше и не проси.

— Въ одномъ карманѣ сочельникъ, въ другомъ чистый понедѣльникъ? Старая, братъ, пѣсня! — сказалъ паничъ, отмахиваясь своимъ бумажнымъ сверткомъ — Дѣло теперь не въ бонбошкахъ, а вотъ въ чемъ: достань-ка аршинъ и смѣрь мнѣ сію штуку.

Но тутъ онъ замѣтилъ заглядывавшаго къ нимъ въ дверь Данилевскаго.

— Э-э! ты чего тамъ подсматриваешь? Не гляди, душенька! Ну, прошу тебя!

Данилевскій отретировался; но когда, немного погодя, Гоголь прошелъ обратно въ музей, другъ его отправился на поиски Симона. Нашелъ онъ

его въ нижнихъ сѣняхъ около кухни за какою-то столярною работою: наколовъ топоромъ изъ доски четыре бруска и обтесавъ ихъ, старикъ вымѣривалъ теперь аршиномъ каждый брусокъ, а потомъ сталъ прилаживать ихъ одинъ къ другому. На полу около него стоялъ ящикъ съ гвоздями и разными столярными принадлежностями.

— Ты что это, Симонъ, рамку для панича мастеришь?—спросилъ Данилевскій:— не по твоей, небось, поварской части?

Симонъ исподлобья сумрачно покосился на вопрошающаго, обтеръ рукавомъ потъ, выступившій у него на лбу отъ непривычной работы, и забрюзжалъ въ отвѣтъ:

— Смастеришь тутъ! Ступай, батюшка, ступай; еще простуду схватишь: сѣни-то вѣдь не топлени.

Въ это время хлопнула дверь со двора и вошелъ къ нимъ въ сѣни одинъ изъ сторожей, Кондрать, или, по мѣстному говору, Киндрать, завѣдывавшій освѣтительными матеріалами гимназіи.

— А что, братику Киндрате,—обратился къ нему Симонъ,—не найдется-ль у тебя на мой пай три-четыре огарочка?

— Отчего не найтись,—отвѣчалъ Кондрать.— А на что тебѣ?

— Стало, надоть. Уважь.

— Да ты напередъ скажи: на что?

— Ввечеру узнаешь.

Старикъ былъ крѣпко упрямъ, и добиваться

отъ него чего-нибудь больше, очевидно, ни къ чему бы не повело.

— Добре, — сказалъ Кондрать. — Зайди ужо на кухню.

И Данилевскій съ своей стороны счелъ уже бесполезнымъ допытывать ворчуна-дядьку, тѣмъ болѣе, что и безъ того догадывался, къ чему клонится дѣло.

Отъ 2-хъ до 4-хъ часовъ у гимназистовъ были два послѣобѣденныхъ урока. Сегодня первый изъ этихъ уроковъ былъ опять «сборный» для «грамматистовъ» другого иностраннаго языка — нѣмецкаго. Временно этому языку преподавалъ профессоръ Михайла Васильевичъ Билевичъ, главнымъ предметомъ котораго были «политическія науки»; но такъ какъ онъ, будучи уроженцемъ Венгріи, получилъ воспитаніе въ Пештскомъ университетѣ и зналъ хорошо такъ-же нѣмецкую словесность, то, впредь до пріисканія подходящаго преподавателя, ему были поручены и уроки нѣмецкаго языка. Былъ онъ человѣкъ среднихъ уже лѣтъ, характера тяжелаго, раздражительнаго, строгій педантъ и въ обращеніи своемъ съ учениками представлялъ совершенный контрастъ съ добрякомъ Жанъ-Жакомъ Ландраженомъ: этотъ никогда не доводилъ дѣла до директора, тогда какъ у Михайлы Васильевича не проходило недѣли, чтобы директоръ, а то и педагогическая конференція не получали отъ него письменнаго рапорта о томъ или другомъ провинившемся школьникѣ. Воспитанники передъ нимъ трепетали; но нельзя ска-

зять, чтобы этотъ трепеть отзывался благопріятно на ихъ успѣхахъ въ нѣмецкомъ языкѣ, къ которому они почти поголовно питали неодолимое отвращеніе.

Сегодня расположеніе духа Михайлы Васильевича было не хуже, но и не лучше обыкновеннаго. Шесть человекъ было переспрошено, и четверо изъ нихъ стояли уже по четыремъ угламъ класса, а противъ фамилій ихъ въ журналѣ красовались толстыя «палки». Съ каждою «палкой» темныя брови профессора сдвигались гуще, и неспрошенные еще воспитанники неотступно слѣдили за взглядомъ Михайлы Васильевича и гусинымъ перомъ въ его рукѣ, которымъ онъ водилъ сверху внизъ и опять снизу вверхъ по журналу, намѣчая себѣ новыя жертвы.

— Гоголь-Яновскій!—внезапно раздался рѣзкій голосъ профессора.

Никто не откликнулся. Билевичъ поднялъ голову и зорко изъ-подъ нависшихъ бровей обвелъ глазами ряды учениковъ.

— Яновскаго развѣ нѣтъ тутъ?

— Онъ не такъ здоровъ,—отвѣчалъ за отсутствовавшаго Данилевскій; при всемъ своемъ правдолюбіи, онъ взялъ теперь изъ-за друга грѣхъ на душу.

— Да вѣдь давеча до обѣда я видѣлъ его еще въ коридорѣ?

— Галушекъ, знать, за обѣдомъ обѣлся: мы оба съ нимъ до нихъ большіе охотники.

— Ну, такъ мы для памяти изобразимъ здѣсь

\*

вамъ обоимъ также по галушкѣ, — съ сухою ироніей произнесъ профессоръ и вывелъ въ журналѣ противъ фамилій Гоголя-Яновскаго и Данилевскаго по сферическому знаку, имѣвшему, въ самомъ дѣлѣ, отдаленное сходство съ галушкой.

— Да за что же это, Михайла Васильевичъ, помилуйте! — запротестовалъ Данилевскій. — Можетъ, мы съ нимъ великолѣпно выучили урокъ...

— Какъ великолѣпно выучилъ его Яновскій, — покажетъ будущее, до него мы доберемся; а васъ мы сейчасъ проберемъ по косточкамъ: пожалуйста-ка къ доскѣ.

Данилевскому этого только и нужно было. Онъ, дѣйствительно, хорошо зналъ урокъ и, выйдя къ доскѣ, отвѣтилъ на каждый изъ предложенныхъ вопросовъ безъ запинки.

— Гм... — промычалъ не ожидавшій такого результата Михайла Васильевичъ, обмакнулъ перо въ чернильницу, въ нерѣзительности помахалъ имъ съ минутку по воздуху и затѣмъ, словно нехотя, въ одну изъ «галушекъ» вставилъ микроскопическую тройку.

— Вотъ что я вамъ скажу, Данилевскій, — промолвилъ онъ, благосклоннѣе обыкновеннаго исподлобья озирая съ головы до ногъ стоявшаго передъ нимъ стройнаго, красиваго отрока: — задатки у васъ отъ природы добрые. Зачѣмъ же вы дружите съ этимъ лѣнивцемъ Яновскимъ?..

Кровь хлынула въ щеки Данилевскаго.

— Простите, Михайла Васильевичъ, — сказалъ онъ, — но вы, можетъ-быть, не знаете, что мы друж-

ны съ нимъ давнымъ-давно съ малолѣтства, что и отцы наши...

— Слышалъ. Оставимъ это. Кто изъ надзирателей у васъ нынче дежурный?

— Зѣльднеръ, Егоръ Ивановичъ.

— Такъ сходите-ка за нимъ и попросите сюда.

Надзиратель, очевидно, долженъ былъ бы разыскать сбѣжавшаго и доставить его въ классъ, во что бы то ни стало. Надо было предупредить Никошу, который, навѣрное, корпитъ теперь надъ своимъ «сюрпризомъ» въ музеѣ. Оказался онъ, дѣйствительно, въ музеѣ за живописною работою. не имѣвшею ничего общаго съ классными занятіями. Увидѣвъ входящаго, Гоголь накрылъ свой рисунокъ рукавомъ и съ неудовольствіемъ спросилъ, что ему нужно. Когда же Данилевскій разсказалъ, въ чемъ дѣло, художникъ нашъ прервалъ его на послѣднихъ словахъ:

— Значить, галушка мнѣ уже поставлена? О чемъ же еще хлопотать? О второй галушкѣ?

— Но Зѣльднеръ застанетъ тебя здѣсь...

— Не застанетъ, если ты не найдешь его.

— Но найти его очень не трудно.

— Въ этомъ-то и вся задача твоя, чтобы искать его тамъ, гдѣ его нѣтъ. Ну, будь здоровъ, уходи, пожалуйста! Не то, право, не поспѣю.

И вѣрный другъ пошелъ искать надзирателя тамъ, гдѣ его не было. А тутъ наступила пятиминутная перемена, и ученики «сборнаго» нѣмецкаго урока разбрелись по своимъ «научнымъ» классамъ. Не дождавшись ни Данилевскаго, ни

Зельднера, профессоръ Билевичъ, по выходѣ изъ класса, самъ передалъ, что нужно, ходившему по коридору надзирателю, и тотъ не замедлилъ разослать дежурныхъ сторожей за Яновскимъ. Съ тяжелымъ сердцемъ живописецъ долженъ былъ оторваться отъ своей работы и поплестся въ классъ, гдѣ предстоялъ еще послѣдній урокъ — географіи. Но едва только преподаватель этого предмета. Алексѣй Михайловичъ Самойленко, переступилъ порогъ класса, какъ Гоголь незамѣченный проскочилъ въ коридоръ. Здѣсь однако онъ тотчасъ наткнулся на надзирателя.

Егоръ Ивановичъ Зельднеръ, въ полномъ смыслѣ слова аккуратный нѣмецъ, исполнялъ свои надзирательскія обязанности съ примѣрнымъ рвеніемъ. По регламенту, воспитанники должны были во время рекреаций говорить между собою либо по-нѣмецки, либо по-французски, смотря по тому, кто состоялъ при нихъ дежурнымъ: надзиратель-нѣмецъ или французъ. И Егоръ Ивановичъ въ первые мѣсяцы службы очень строго наблюдалъ за тѣмъ, чтобы въ его дежурство говорилось только по-нѣмецки, а ослушниковъ подвергалъ установленной карѣ, оставляя ихъ безъ чая или сладкаго блюда. Но что подѣлаешь съ этими варварами, «mit diesen Barbaren», если они ни аза не смыслятъ по-нѣмецки? Поневолѣ приходилось самому ломать языкъ и мѣшать благородную родную рѣчь съ варварскою. Еще менѣе, конечно, виновать былъ Егоръ Ивановичъ въ томъ, что природа надѣлила его высокимъ теноромъ, перехо-

дившимъ въ крикливый фальцетъ, сухопарою фигурой на несоразмѣрно-длинныхъ, съ кривизной ногахъ, на которыхъ онъ шагаль, какъ на ходуляхъ, отнюдь не классическимъ профилемъ, водянистаго цвѣта глазами и такою ерошистою шевелюрой, которая не поддавалась ни гребню, ни щеткѣ.

Какъ бы то ни было, но, по милости своей ломанной русской рѣчи, необычнаго тембра голосовыхъ струнъ и еще болѣе необычной внѣшности, Зельднеръ, при всемъ служебномъ усердіи, не пользовался, къ сожалѣнію, у воспитанниковъ надлежащимъ авторитетомъ.

— *Wohin, wohin, mein Lieber?* — задержаль онъ Гоголя, когда тотъ хотѣлъ-было шмыгнуть мимо.

— Да у меня, Егоръ Ивановичъ, ужасно зубы болятъ... сочинилъ тутъ же Гоголь, хватаясь рукой за щеку, и соорилъ при этомъ такую жалкую мину, что простякъ-надзиратель дался въ обманъ.

— Вѣрно отъ сладостей, — замѣтилъ онъ не то съ укоромъ, не то съ соболѣзнованіемъ. — Вѣдь вы большой лакомка!

Мы избавляемъ читателей отъ неправильныхъ оборотовъ нѣмецко-русской рѣчи надзирателя и приводимъ только ея точный смыслъ.

— Увы и ахъ! Кто передъ Богомъ не грѣшенъ! — виновато вздохнулъ Гоголь. — И вы вѣдь, Егоръ Ивановичъ, кажется, не прочь иногда пососать леденчикъ. Не угодно ли-съ?

Онъ досталь изъ кармана пригоршню леденцовъ. Егоръ Ивановичъ неодобрительно покачалъ



головою, однако не отказался, взялъ леденецъ, развернулъ изъ бумажки и препроводилъ въ ротъ.

— Возьмите еще,—предложилъ Гоголь.

— Развѣ одну штучку...

— Берите всѣ! Богъ съ ними: одинъ соблазнъ! Ой-ой, какъ зануль опять, проклятый! Пополощу тепленькой водицей...

— Halt! halt! (Стой! стой!)—пронесся по коридору звонкій голосъ надзирателя вслѣдъ удирающему школьнику.

Удалось ли бы еще Егору Ивановичу, несмотря на свои шагистыя ходули, настичь бѣглеца, — неизвѣстно. Но Гоголю встрѣтилось непредвидѣнное препятствіе въ лицѣ самого директора гимназіи, Ивана Семеновича Орлая, который какъ разъ въ это время появился изъ боковой двери и остановилъ его за руку:

— Куда?!

Съ Иваномъ Семеновичемъ шутить не приходилось. Зналъ это Гоголь еще до гимназіи: у Орлая имѣлся маленькій, въ 6 душъ, хуторокъ въ Полтавской губерніи, недалеко отъ Кибинецъ, имѣнія малороссійскаго магната Трошинскаго. Въ домѣ—то послѣдняго, приходившагося родственникомъ Марьи Ивановны Гоголь (матери Никоши), семейство Гоголей и познакомилось съ будущимъ директоромъ Нѣжинской гимназіи. Не то, чтобы Орлай былъ черезчуръ строгъ или придирчивъ, — о, нѣтъ! напротивъ: крутыя мѣры онъ принималъ только въ крайнемъ случаѣ, предварительно до мелочей разобравъ дѣло; входилъ

въ положеніе и большого и малаго, но особенно покровительствовалъ обездоленнымъ и слабымъ, ободряя, поощряя ихъ и словомъ и дѣломъ. Этимъ онъ снискалъ себѣ общую любовь; а общее уваженіе заслужила ему, кромѣ того, его необыкновенная начитанность и ученость. Съ такими духовными качествами вполне гармонировала и его внѣшность: представительная, осанистая, выше средняго роста, фигура, важное, благообразное лицо и изысканная опрятность и аккуратность въ одеждѣ (онъ всегда былъ въ свѣжемъ бѣломъ галстухѣ и даже дома у себя никогда не надѣвалъ шлафрока). Правда, что темперамента онъ былъ очень горячаго, какъ это нерѣдко встрѣчается у натуръ прямодушныхъ и благородныхъ, не переносящихъ неправды и каверзъ; правда, что, врагъ всякаго безпорядка, онъ былъ очень требователенъ и въ пылу гнѣва хваталъ большихъ школяровъ за воротъ, а маленькихъ за ухо,—но никому и въ голову не приходило обижаться этимъ: коли это дѣлалъ Иванъ Семеновичъ, самъ «Юпитеръ-Громовержецъ», какъ прозвали его воспитанники, то стало-быть такъ и надо было.

— Ну-съ, что-же? — спросилъ Орлей, не получая отвѣта отъ Гоголя, у котораго языкъ не повертывался повторить директору басню, столь до-вѣрчиво принятую надзирателемъ.

Но подоспѣвшій между тѣмъ Зѣльднеръ не замедлилъ доложить по-нѣмецки «его превосходительству» («seiner Excellenz»), что «вотъ, у

Яновскаго разболѣлся зубъ,—и немудрено, потому что онъ вѣчно носить съ собой полный карманъ леденцовъ...»

— Но Егоръ Ивановичъ былъ сейчасъ такъ добръ, что избавилъ меня отъ нихъ,—досказалъ Гоголь.

Егоръ Ивановичъ смутился и началъ—было оправдываться; но леденецъ, котораго онъ еще не дососалъ, мѣшалъ ему говорить.

— Schon gut! (Ладно!)—коротко прервалъ его директоръ и обратился снова къ воспитаннику:—Испорченный зубъ, мой милый, лучше всего съ корнемъ вонъ.

— Онъ у меня уже не болитъ!—поспѣшилъ увѣрить Гоголь, испугавшійся, какъ бы рѣшительный во всемъ Иванъ Семеновичъ не послалъ сейчасъ за цырюльникомъ, который въ гимназїи исполнялъ и обязанности зубного врача.—Я забылъ сказать вашему превосходительству, что маменька прислала мнѣ письмо. Она поручила мнѣ засвидѣтельствовать вамъ усерднѣйшій поклонъ и доложить, что по вашему имѣнїю все идетъ очень хорошо.

— Спасибо, дружокъ. Будете писать матушкѣ, не забудьте поклониться отъ меня и поблагодарить. Что тебѣ?—обернулся Орлай къ подошедшему въ это время сторожу и, на докладъ послѣдняго, началъ отдавать ему какое-то приказанїе.

Гоголь не сталъ дожидаться и съ почтительнымъ поклономъ пошелъ своею дорогой. Дирек-

тору было уже не до него, а надзирателю не было пока охоты связываться опять съ этимъ озорникомъ.

Вторымъ послѣобѣденнымъ урокомъ оканчивались классныя занятія воспитанниковъ. Время отъ 4-го до 5-го часа давалось имъ «на свободное отдохновеніе», отъ 5-ти до 5½ они пили вечерній чай, отъ 5½ до 6½ повторяли уроки, отъ 6½ до 7-ми употребляли «на пріятнѣйшее и благородно-шутливое препровожденіе времени — чтеніе Лафонтеновыхъ басенъ на французскомъ и нѣмецкомъ языкахъ съ помощью изъясненій словъ и выраженій гувернеромъ». Собравъ затѣмъ въ музеѣ классныя принадлежности къ слѣдующему дню, они, для возбужденія аппетита, дѣлали небольшой моціонъ на свѣжемъ воздухѣ; отъ 7½ до 8-ми ужинали и, послѣ новаго небольшого моціона, принимались опять за повтореніе уроковъ. Въ 9 часовъ, послѣ вечерней молитвы, они «отходили къ постелямъ для раздѣванія и положенія себя въ оныя», чтобы въ половинѣ 6-го утра снова подняться и къ половинѣ 7-го быть уже готовыми къ утренней молитвѣ и чаю.

Гоголь вообще чуждался общества своихъ сверстниковъ и рѣдко когда принималъ участіе въ ихъ шумныхъ сборищахъ. Сегодня же онъ былъ какъ-то особенно молчаливъ и сосредоточенъ, ни слова не проронилъ, когда «барончикъ» безцеремонно завладѣлъ у него за чаемъ выворенною булкой, и по временамъ только заносилъ что-то карандашемъ на лоскутокъ бумаги;

но писанье ему какъ . будто не давалось: онъ нервно грызъ карандашъ и, написавъ пару словъ, тотчасъ зачеркивалъ опять написанное.

Затѣмъ до самаго ужина онъ куда-то безслѣдно исчезъ. За ужиномъ онъ ничего не ѣлъ и безпокойно только озирался на выходную дверь. Но вотъ тамъ появился дядька Симонъ и подаль ему издали какой-то загадочный знакъ. Паничъ мотнулъ въ отвѣтъ головой и сообщилъ что-то на ухо своему сосѣду. Таинственное сообщеніе мигомъ облетѣло весь столъ, и, когда ужинъ пришелъ къ концу, школьники, вмѣсто того, чтобы идти въ шинельную — одѣться для вечерней прогулки, взбѣжали въ перегонку во второй этажъ, гдѣ были классы и рекреационный залъ.

— Wohin, wohin, meine Herren?— кричалъ за ними Зѣльднеръ, который долженъ былъ сопровождать ихъ на прогулкѣ.

Окликъ его остался гласомъ вопіющаго въ пустынь. Шумною волной всѣ хлынули въ рекреационный залъ. Лампы здѣсь были уже потушены; но тѣмъ эффектиѣе выдѣлялся изъ окружающей темноты среди зала освѣщенный сзади транспарантъ. Художникъ, исполнившій его, очевидно, хорошо пропиталъ бумагу масломъ, потому что цвѣтной рисунокъ прекрасно просвѣчивалъ. Представлялъ же онъ дервиша, котораго громадными ножницами стрижетъ рогатый и хвостатый цырюльникъ; а подъ рисункомъ стояло слѣдующее восьмистишіе, заглавныя буквы котораго для

рельефности были выведены красною краской и крупнѣе обыкновеннаго:

«Се образъ жизни нечестивой,  
 Пугалище дерзвѣшей всѣхъ,  
 Инѣкъ монастыря строптивой,  
 Разстрига, совершившій грѣхъ.  
 И за сіе-то преступленье  
 Досталъ онъ титулъ сей.  
 О, чтець! имѣй терпѣнье  
 Начальныя слова въ устахъ запечатлѣй.»

— Да вѣдь это же акrostихъ, господа: «Спиридонъ»! — раздались кругомъ восклицанія. — Ай-да Яновскій! Ну, Спиридонушка, поклонись ему въ ножки.

— Вотъ изволите видѣть, ваше превосходительство, вотъ они, плоды-то! — произнесъ тутъ по-нѣмецки позади смѣющихся знакомый фальцетъ.

Гимназисты живо разступились, чтобы пропустить впередъ надзирателя и директора.

— Плоды, дѣйствительно, еще зелены, особливо вирши, — замѣтилъ строже обыкновеннаго Орлай. — Это, Яновскій, ваша мазня?

Отречься ни къ чему бы уже не повело.

— Моя-съ, — сознался Гоголь, который чуялъ уже надвигавшуюся грозу.

— Изъ васъ, повѣрьте моей опытности, ни великаго художника, ни тѣмъ паче поэта *dei gratia* (Божіею милостью) никогда не выйдетъ. А дабы вы на-досугѣ могли надъ симъ поразмыслить, вы проведете эту ночь въ одиночномъ заключеніи здѣсь же въ залѣ.

— Простите его, Иванъ Семеновичъ!—неожиданно выступилъ тутъ ходатаемъ за своего обидчика Бороздинъ.—У насъ были съ нимъ маленькіе счеты. А я даже радъ, что далъ случай товарищамъ посмѣяться: меня отъ этого не убудеть.

— Въ самомъ дѣлѣ, Иванъ Семеновичъ,—подхватилъ Данилевскій,—я знаю Яновскаго съ малыхъ лѣтъ: сердце у него доброе; но у него особенный даръ подмѣчать все смѣшное, и онъ не въ силахъ уже устоять...

— Чтобы не написать плохихъ стиховъ?—досказалъ замѣтно смягченный директоръ.

— Нѣтъ, Иванъ Семеновичъ, у него есть и очень порядочные стихи,—вмѣшался тутъ второй пріятель стихотворца, Прокоповичъ:—на дняхъ еще читалъ онъ мнѣ свою балладу: «Двѣ рыбки».

— Полно, Красненькій, я просилъ вѣдь тебя молчать... пробормоталъ Гоголь.

— Да надо же знать Ивану Семеновичу, что у тебя есть поэтической талантъ! Баллада его, Иванъ Семеновичъ, такъ трогательна, что я даже прослезился.

— Каково!—усмѣхнулся Иванъ Семеновичъ.—О чемъ же она трактуетъ?

— А подъ «двумя рыбками» онъ разумѣетъ себя самого съ своимъ покойнымъ маленькимъ братомъ Ваней, котораго онъ такъ любилъ, что до сихъ поръ забыть не можетъ.

— Гмъ... Вотъ что, Николай Васильевичъ,—отнесся Орлай къ Гоголю, котораго онъ, какъ и нѣкоторыхъ другихъ старшихъ воспитанниковъ,

внѣ учебныхъ часовъ называлъ просто по имени и отчеству:—завтра у меня семейный праздникъ. Зайдите-ка и вы, да кстати захватите съ собой свою балладу. Экстренной оказіи ради, обѣдъ не въ часъ дня, а въ половинѣ 5-го. И васъ, Федоръ Корниловичъ, прошу быть моимъ гостемъ.

И Гоголь, и Бороздинъ отвѣсили молчаливый поклонъ «Юпитеру—Громовержцу», который, не упоминая уже объ одиночномъ заключеніи, поручилъ надзирателю убрать транспарантъ и, пожелавъ всѣмъ воспитанникамъ доброй ночи, спокойно удалился.







### ГЛАВА III.

#### У Юпитера-Громовержца.

**Н**е въ первый уже разъ удостоился Гоголь приглашенія къ директорскому столу. По воскресеньямъ и табельнымъ днямъ избранные изъ гимназистовъ — пансіонеровъ, не имѣвшихъ въ городѣ родныхъ, поочередно, партіями человекъ въ 5—6, обѣдали и проводили вечеръ у Ивана Семеновича, который дома у себя обходился съ ними не какъ начальникъ, а какъ любезный хозяинъ. Гоголь попалъ въ число этихъ избранныхъ не столько, конечно, изъ-за своихъ собственныхъ заслугъ, сколько благодаря доброму расположенію Орлая къ его родителямъ.

У Ивана Семеновича было 6 человекъ дѣтей; но изъ трехъ сыновей двое старшихъ служили уже въ уланахъ и находились при своихъ полкахъ. Одинъ 10-лѣтній Мишенька, съ осени одѣвшій гимназическую форму, находился еще въ родительскомъ домѣ, также какъ и его 3 сестрицы.

Младшая изъ нихъ, Лизанька, и подала на этотъ разъ поводъ къ семейному торжеству: ей исполнилось 13 лѣтъ.

Ровно въ половинѣ 5-го приступили къ закускѣ, а затѣмъ размѣстились чиннымъ порядкомъ за столомъ, который, по случаю большого числа гостей, пришлось накрыть въ залѣ. Весь учебно-воспитательный персоналъ гимназіи оказался на лицо. Одни были во фракахъ, другіе, за неимѣніемъ таковыхъ, — въ вицмундирахъ, но всѣ въ бѣлыхъ галстукахъ, а орденскіе кавалеры и при орденнахъ. Воспитанники точно такъ же обмѣнили свои будничные сѣрые сюртучки на нарядные синіе мундирчики съ черно-бархатными воротниками. Мишенька Орлай собралъ около себя чуть не дюжину своихъ маленькихъ сверстниковъ. Гоголь былъ единственнымъ изъ пятаго класса и имѣлъ по одну руку отъ себя двухъ «студентовъ» — семиклассниковъ: Бороздина и Рѣдкина, а по другую — четырехклассника Кукольника и третьеклассника Базили. Бороздинъ хотя по-христіански и отпустилъ своему должнику — Яновскому — его грѣхъ, но теперь словно и не замѣчалъ его присутствія: обернувшись къ своему сосѣду — однокласснику Рѣдкину, онъ чуть не съ благоговѣйнымъ вниманіемъ прислушивался къ какому-то хитроумнымъ объясненіямъ его по поводу послѣдней лекціи римскаго права.

Гоголь окончательно отвернулся отъ двухъ «студентовъ» къ двумъ гимназистамъ, которые классами хотя и были ниже его, но годами почти

ровесники съ нимъ. Зато они оба были первыми учениками въ своихъ классахъ. Кромѣ того, оба пользовались особеннымъ покровительствомъ Ивана Семеновича еще и потому, что Кукольникъ былъ сыномъ его предмѣстника въ должности директора нѣжинской гимназіи, умершаго черезъ полгода по ея открытіи, а Базили былъ изъ семьи эмигрантовъ-грековъ, въ судьбѣ которой самъ попечитель гимназіи, графъ Кушелевъ-Безбородко, принималъ живое участіе. Не могъ Гоголь подозрѣвать, конечно, что Рѣдкинъ сдѣлается современемъ профессоромъ и ректоромъ Петербургскаго университета, Базили станетъ извѣстнымъ дипломатомъ, Кукольникъ — даровитымъ писателемъ, а самъ онъ — безсмертнымъ юмористомъ.

Теперь у Гоголя было одно на умѣ — посмѣшить окружающихъ, потому что онъ чувствовалъ себя «въ ударѣ», и точно: онъ такъ удачно подтрунивалъ то надъ Кукольникомъ и Базили, то надъ тѣмъ или другимъ изъ мальчугановъ, товарищей Мишеньки, что съ нижняго конца стола до хозяина-директора на верхнемъ концѣ то и дѣло долетали звонкіе смѣшки, и Иванъ Семеновичъ издали съ снисходительной улыбкой кивалъ головой остряку, а дежурный надзиратель, французъ Аманъ, не переставалъ призывать его къ порядку.

Супъ съ пирожками, рыба съ гарниромъ и жаркое со всевозможнымъ соленьемъ и вареньемъ, какъ всегда превкусно изготовленные подъ личнымъ руководствомъ домовитой директорши, Шарлотты Ивановны, были скушаны съ равнымъ

аппетитомъ. Но самый любопытный для молодежи моментъ объѣда — десертъ — былъ еще впереди. Лежавшія передъ каждымъ приборомъ чайныя ложки свидѣтельствовали, что предстоитъ нѣчто жидкое или полужидкое, не требующее ножа и вилки.

— А ну-ка, братцы, кто угадаетъ, что подадутъ намъ теперъ? — спросилъ Гоголь.

— Мороженое! Воздушный пирогъ! Варенье съ сбитыми сливками! — поднялся кругомъ оживленный хоръ ребяческихъ альтовъ.

— Стой! Дайте собрать голоса.

— А если кто не угадаетъ?

— Не угадаетъ, такъ отдаетъ свою порцію.

— Кому?

— Мнѣ, конечно, судьѣ Шемякѣ.

Мальчуганы хоромъ опять запротестовали. Но съ разныхъ сторонъ на нихъ зашикали. Оказалось, что старшій изъ профессоровъ, Билевичъ, собрался предложить тостъ.

Постучавъ ложкой о бокаль, Михайла Васильевичъ съ поклономъ въ сторону хозяина-директора заявилъ, что, предварительно установленной здравицы за юную виновницу торжества, будетъ умѣстно отъ имени всѣхъ присутствующихъ воздать должное ея досточтимому родителю и притомъ на благородномъ діалектѣ древнихъ римлянъ, на коемъ его превосходительство, какъ истинный ученый, не имѣетъ себѣ равныхъ. За такимъ вступленіемъ слѣдовала самая рѣчь. Хотя Гоголь, а тѣмъ болѣе семиклассники Рѣдкинъ и Бороздинъ были уже посвящены въ «діалектъ древнихъ рим-

\*

лянъ», но рѣчь, очевидно впередъ заготовленная, оказалась настолько цвѣтиста и витіевата, что многое изъ нея осталось и для нихъ туманнымъ. Общій смыслъ сказаннаго, впрочемъ, заключался въ томъ, что Иванъ Семеновичъ, сынъ небогатыхъ, но благородныхъ родителей, узрѣлъ свѣтъ Божій 52 года назадъ въ глухомъ венгерскомъ городкѣ Густѣ, и съ малыхъ лѣтъ отличался неусыпнымъ прилежаніемъ, въ коемъ похвально тщатся подражать ему и присутствующіе его питомцы, за однимъ лишь печальнымъ исключеніемъ, прибавилъ ораторъ, — и брошенный имъ на нижній конецъ стола взглядъ, остановившись на мгновеніе на Гоголѣ, не оставлялъ сомнѣнія, кто именно былъ этимъ исключеніемъ.

Изъ дальнѣйшей біографіи Ивана Семеновича слушатели могли узнать, что онъ блистательно прошелъ цѣлый рядъ учебныхъ заведеній, начиная отъ низшаго народнаго училища и кончая генеральною Іосефинскою семинаріей, aliter богословскимъ факультетомъ пештскаго университета, а 19-ти лѣтъ отъ роду былъ уже опредѣленъ профессоромъ ариѳметики, географіи, исторіи и двухъ древнихъ языковъ въ велико-карловскую гимназію высшихъ наукъ. Слава о немъ, какъ объ образцовомъ преподавателѣ, разнеслась далеко за предѣлы его отечества, долетѣла наконецъ и до отдаленной невской Пальмиры, и самъ кесарь всероссійскій, Павелъ Первый, вызвалъ его къ себѣ — научнымъ свѣточемъ просвѣщать погрязшее дотолѣ во мракѣ варварства юношество.

— *Ohe, jam satis, carissime!*— улыбаясь, прервалъ своего панегириста Орлай, — *amicus Plato, sed magis amica veritas* \*). Дѣло было не совсѣмъ такъ. Состоялъ я, точно, преподавателемъ разныхъ наукъ въ велико-карловской гимназіи, но преподавателемъ низшихъ классовъ. Когда же, по конкурсу, я заслужилъ вакантное мѣсто учителя въ старшихъ классахъ, ректоръ-іезуитъ отказалъ мнѣ въ немъ единственно потому, что я не нѣмецъ, а русинъ. По молодости лѣтъ я не стерпѣлъ: «Хорошо! коли я русинъ, такъ и пойду искать счастья на Руси», — и такъ-то попалъ въ Петербургъ. А тамъ въ это самое время открылась медицинская академія. Я поступилъ въ нее студентомъ, окончилъ курсъ...

— И наиблестящимъ манеромъ!— досказалъ Билевичъ.

— По первому разряду, да; получилъ званіе доктора медицины и хирургіи, вполнѣдствіи и мѣсто ученаго секретаря академіи, гофъ-хирурга и гофъ-медика...

— Но истинное призваніе вашего превосходительства было все-же иное: на должность нашего начальника вы были призваны не какъ медикъ, а какъ образцовый словесникъ и педагогъ! И вы вполнѣ оправдали, превзошли ожиданія призвавшихъ васъ...

— Полноте, любезнѣйшій: я дѣлалъ только

---

\*) О, будетъ, любезнѣйшій! Платонъ мнѣ дорогъ, но правда дороже.

свое дѣло по совѣсти, какъ подобаетъ всякому честному человѣку.

— Не токмо по совѣсти, но и съ достодожной энергіей, ибо радикально очистили сію авгіеву конюшню послѣ злосчастнаго вашего предмѣстника...

— Тише, коллега! вы забываете объ ушахъ, коимъ больно это слышать, — вполголоса по-латыни предупредилъ Иванъ Семеновичъ, указывая глазами на Кукольника, покойный отецъ котораго, какъ хорошо извѣстно было всѣмъ присутствующимъ, вслѣдствіе неурядицъ, возникшихъ не по его винѣ тотчасъ по открытіи гимназій, впалъ въ меланхолію, сведшую его вскорѣ затѣмъ въ могилу.

— А что, господа, не пора ли поговорить опять и на общепонятномъ языкѣ? — заявила Шарлотта Ивановна. — Отъ горячихъ рѣчей вашихъ мороженое мое совсѣмъ, пожалуй, растаетъ.

И точно. слуга уже нѣсколько минутъ стоялъ съ блюдомъ мороженаго позади оратора.

— Виноватъ-съ! — извинился тотъ и сталъ накладывать себѣ мороженаго на хрустальную тарелочку.

Гимназисты были очень довольны вмѣшательствомъ хозяйки, потому что вниманіе ихъ было все время гораздо болѣе приковано къ сладкому произведенію директорской кухни, чѣмъ къ цвѣтамъ краснорѣчія Михайлы Васильевича. Одному только Кукольнику не было дѣла ни до того, ни до другого: доставъ изъ бокового кармана какой-то листочекъ, онъ украдкой перечитывалъ его подъ столомъ, беззвучно шевеля губами. Когда

же теперь Билевичъ на минуту умолкъ, Кукольникъ сорвался со стула, разомъ покраснѣлъ до ушей и, обведя окружающихъ неувѣреннымъ взглядомъ, сталъ откашливаться, словно у него запершило въ горлѣ.

— А! Несторъ Васильевичъ никакъ тоже здравуцу возгласить хочеть?— замѣтилъ Орлай.— Но я долженъ, къ сожалѣнію, остановить васъ, другъ мой: мосье Ландраженъ уже ранѣе васъ выразилъ желаніе сказать пару словъ.

Кукольникъ, какъ окаченный холодной водой, опустился опять на свое мѣсто.

— О! я могъ бы и обождать,— любезно отозвался по-французски Ландраженъ, но самъ уже приподнялся съ бокаломъ въ рукѣ и съ поклономъ отнесся къ «новорожденной».— Мосье Несторъ, какъ начинающій поэтъ, вѣроятно воспоетъ васъ, мадмоазель, звучными стихами, и ему по праву принадлежитъ финаль, апоэеозъ. У меня же не имѣется собственныхъ стиховъ; я могу только цитировать другого поэта—современнаго нашего французскаго Анакреона, у котораго, въ числѣ несчетныхъ перловъ лирики, есть одна пьеска, точно сочиненная на васъ: «La petite fée».

«Enfants, il était une fois  
Une fée appelée Urgande» \*)...

\*) Для читателей, незнакомыхъ съ этимъ наивно-прелестнымъ стихотвореніемъ Беранже, мы приводимъ здѣсь первый куплетъ его въ переводѣ В. Курочкина:

«Нѣкогда, милья дѣти,  
Фея Уганда жила,



Читалъ Ландраженъ безподобно, съ тѣмъ неподражаемымъ тонкимъ подчеркиваніемъ и огонькомъ, которые свойственны однимъ французамъ. Послѣ рефрена послѣдняго куплета:

«Ah! bonne fée, enseignez-nous,  
Où vous cachez votre baguette!»

онъ прибавилъ уже прозой отъ себя, граціознымъ жестомъ указывая на Лизаньку Орлай:

— Вотъ она, наша маленькая добрая фея: чѣмъ, какъ не своей волшебной палочкой, собрала она всѣхъ насъ въ этотъ тѣсный дружескій кружокъ? Изъ году въ годъ, изо дня въ день приносить она въ этотъ благословенный домъ миръ и радость; а сама все растеть-растетъ, распускается изъ бутона, чтобы расцвѣсть вдругъ настоящей феей. Немудрено, если она заколдуетъ тогда какого-нибудь избраннаго смертнаго и, отдавъ ему руку и сердце, на воздушной своей колесницѣ, запряженной бѣлыми лебедями, умчится отъ насъ съ счастливецемъ — куда? Почему я знаю! Покаместъ же, господа, она среди насъ, — будемъ ее чествовать и славить: да здравствуетъ наша маленькая фея!

«Маленькая фея», не приготовленная, видно, къ такому восторженному привѣту, разгорѣлась,

Маленькой палочкой въ свѣтъ  
Дѣлавъ большія дѣла.  
Только махнетъ ею — мигомъ  
Счастье прольется вездѣ...  
Добрая фея, скажи намъ,  
Гдѣ твоя палочка, гдѣ?»

какъ маковъ цвѣтъ; но, по молчаливому знаку матери, застѣнчиво вышла изъ-за стола съ бокаломъ въ рукахъ и начала обходить всѣхъ гостей. Когда она добралась такъ до нижняго конца стола, всѣ гимназисты, какъ одинъ человѣкъ, повскакали съ своихъ мѣстъ и принялись наперерывъ чокаться съ нею. Одинъ только Гоголь не особенно торопился.

— Ай, мое платье!—ахнула Лизанька, которой, при общемъ столкновеніи бокаловъ, цѣлая струя густой вишневой наливки плеснула на новенькое кисейное платьице.

— Позвольте я сейчасъ обсушу, — сказалъ галантный кавалеръ Кукольникъ и салфеткой сталъ усердно обтирать на бѣлой кисеѣ темнокрасное пятно.

— Да вы, Несторъ Васильевичъ, еще больше размажете... со слезами уже въ голосъ пролепетала маленькая барышня.

Шарлотта Ивановна, издали заботливымъ глазомъ матери слѣдившая за своей любимицей, поспѣшила къ ней на выручку.

— Ничего, мы это сейчасъ смоемъ, — успокоила она дѣвочку и увела ее изъ комнаты.

Самъ Кукольникъ до того оторопѣлъ, что когда слуга подошелъ къ нему тутъ съ блюдомъ мороженаго, онъ отвалилъ себѣ на тарелку двойную порцію.

А съ верхняго конца стола, изъ среды профессоровъ, донесся громогласный окликъ профессора «россійской словесности», Парфенія Ивановича Никольскаго:

— А у васъ, Кукольникъ, что тамъ приготовлено: тоже стишки?

— Стихи-съ...

— Что же вы предварительно мнѣ на цензуру не предъявили? Благо, новорожденная отлучилась, подайте-ка ихъ сюда.

Дѣлать нечего: молодой поэтъ оставилъ на столѣ свою тарелочку съ мороженымъ и направился къ взыскательному цензору. Тотъ принялъ отъ него листокъ и прочелъ про себя написанное.

— Гмъ, въ общемъ было бы добропорядочно, — промолвилъ онъ, — кабы вы болѣе держались классическихъ образцовъ.

«Зѣло, зѣло, зѣло, дружокъ мой, ты искусень,  
Я спорить не хочу, но только складъ твой гнусень» \*).

— Я, Парфеній Ивановичъ, старался подражать Пушкину, — сталъ оправдываться Кукольникъ.

— Пуш-ки-ну? — протянулъ, пріосанясь, Парфеній Ивановичъ. — Которому: дядѣ или племяннику? Да, впрочемъ, оба хороши, одинъ другого стоить.

— Простите, Парфеній Ивановичъ; но стихи племянника, Александра Пушкина, не мнѣ одному, а очень многимъ нравятся.

— Стыдно, стыдно молодой челоуѣкъ! вамъ и имя-то при крещеніи какъ-бы нарочито дано классическое: Несторъ. А вы нашимъ безсмертнымъ классикамъ — Ломоносову, Сумарокову, Хе-

\*) Стихи Сумарокова.

раскову — предпочитаете кого? Богъ Ты мой! ка-кого-то мальчишку, незрѣлаго выскочку!

— Но у него, Парфеній Ивановичъ, стихи, право, удивительно мелодичны...

— «Мелодичны!» Не въ мелодіи, любезнѣй-шій, дѣло, а въ красотѣ образовъ, въ возвышен-ности слога. Гдѣ вы найдете у него такую кар-тину утра, какъ у столпа російскихъ стихотво-ровъ, Ломоносова:

«И се уже рукой багряной  
Врата отверзла въ міръ заря,  
Отъ ризы сыплеть свѣтъ румяный  
Въ поля, въ лѣса, во градъ, въ моря.  
Велитъ ночнымъ лучамъ склониться  
Предъ свѣтлымъ днемъ и въ тверди скрыться.»

Или такое описаніе ночи:

«Открылась бездна, звѣздъ полна;  
Звѣздамъ числа нѣтъ, безднѣ — дна.»

Всего двѣ строки, кажись, а что за сила, что за глубина! Та же бездонная бездна.

— Да я и не думаю соперничать съ Ломоно-совымъ... пробормоталъ Кукольникъ и, получивъ обратно отъ профессора свой листокъ, скомкалъ его въ рукѣ.

— Что вы дѣлаете, Несторъ Васильевичъ! — укорилъ его хозяйинъ-директоръ. — Вы же еще не прочли намъ...

Но профессоръ Никольскій одобрилъ посту-покъ молодого поэта:

— Нѣтъ, ваше превосходительство: онъ самъ, очевидно, созналъ, что сей плодъ его музы, какъ

и пушкинскіе. не совсѣмъ дозрѣлъ и испортилъ бы лишь пищевареніе истиннымъ цѣнителямъ. Дальнѣйшіе плоды, при нашей помощи, будемъ надѣяться, окажутся болѣе удобоваримы.

Въ-конецъ устыженный, Кукольникъ съ понурою головою поплелся къ своему мѣсту.

— А гдѣ же мое мороженое? — спросилъ онъ.

Передъ нимъ стояла пустая хрустальная тарелочка; но слѣды сливокъ на ея днѣ и на чайной ложкѣ свидѣтельствовали, что мороженое было тутъ, да съѣдено.

— Вотъ что значитъ витать въ поднебесьи! — сказалъ Гоголь, съ наслажденіемъ гастронома прихлебывая ложечкой съ собственной тарелочки полурастаявшее мороженое. — Самъ же вѣдь давеча скушалъ.

— Кто? я?

— Смотрите-ка, господа, онъ уже забылъ! Эхъ ты, Возвышенный!

— Конечно, самъ скушалъ! — подтвердилъ Мишенька Орлай, и остальная «мелюзга» съ веселымъ смѣхомъ дружно его поддержала: — Конечно, самъ!

«Возвышенный» свирѣпо на нихъ покосился и съ гордо-обиженнымъ видомъ молча присѣлъ за свою пустую тарелочку.

— Экъ вѣдь надулся, какъ мышь на крупу, — сказалъ Гоголь и украдкой подаль знакъ слугѣ, чтобы тотъ угостилъ опять мороженымъ обдѣленнымъ.

Между тѣмъ, у взрослыхъ рѣчь перешла на театральныя представленія воспитанниковъ, и профессоръ Никольскій сообщилъ тутъ хозяину, что

у него, Никольскаго, было въ примѣтъ на сегоднешній день поставить нѣкую трагедію сѣвернаго Расина—Сумарокова: «Синава и Трувора» или «Дмитрія Самозванца», что и роли у него были уже намѣчены для старшихъ пансіонеровъ, да вотъ, къ прискорбію, со стороны нѣкоторыхъ коллегъ встрѣтилось непреоборимое противоборство.

— А жаль,—отозвался Орлай.—Подобное развлечение среди учебныхъ занятій даже полезно, ибо освѣжаетъ молодыя головы. Кромѣ того, домашніе спектакли дѣлаютъ молодыхъ людей несомнѣнно развязнѣе...

— Даже черезчуръ!—вмѣшался въ разговоръ профессоръ Билевичъ.—Вонъ Гоголь-Яновскій на прошлой масленицѣ игралъ, помнится, Еремѣвну въ «Недорослѣ», да съ тѣхъ поръ и на урокахъ ведетъ себя Еремѣвной.

Всѣмъ присутствующимъ, видно, припомнилась игра Гоголя-Еремѣвны въ комедіи Фонвизина, потому что на губахъ взрослыхъ появилась улыбка, а между гимназистами послышался смѣхъ. Самъ же Гоголь, при всей хваленой развязности на сценѣ и въ классѣ, сдѣлавшись здѣсь предметомъ общаго вниманія, застѣнчиво потупился.

— Дайте имъ играть трагическихъ героевъ, такъ они, можетъ-быть, и на дѣлѣ станутъ вести себя героями,—шутливо замѣтилъ Ландраженъ.

— И вправду, Иванъ Семеновичъ!—подхватилъ Кукольникъ, который успѣлъ уже ободриться и, какъ свой почти человѣкъ въ домѣ директора,

позволялъ себѣ иногда вмѣшиваться въ бесѣду взрослыхъ. — Разрѣшите намъ опять играть на масленой! Замѣсто классныхъ досокъ, мы соорудили бы уже настоящія кулисы и поставили бы настоящую классическую трагедію Озерова или Державина.

— Озеровъ и Державинъ, милый мой, еще не подлинныя классики, не боги, а полубоги россійскаго Парнаса, — поправилъ Никольскій.

— Но озеровскій «Эдипъ въ Афинахъ», Парфеній Ивановичъ, развѣ не классическая пьеса?

— Гмъ... пьеса изряднѣхонькая, но лишь полуклассическая. Да и кому же изъ васъ, юнцовъ, была бы по плечу отвѣтственная роль самого Эдипа?

— А хоть бы Базили: онъ у насъ вѣдь коренной грекъ и перечиталъ въ оригиналѣ чуть не всѣхъ греческихъ авторовъ. Ты, Базили, сыгралъ бы вѣдь Эдипа?

— Отчего не сыграть, — отозвался Базили. — Но дозволятъ ли намъ вообще играть?

Между господами педагогами поднялись оживленныя пренія: допускать ли опять театральныя представленія въ стѣнахъ гимназіи, такъ какъ еще долго до спектакля молодые актеры за повтореніемъ ролей забываютъ повторять уроки. Но, благодаря вкуснымъ и обильнымъ яствамъ и питіямъ, настроеніе большинства оказалось настолько благодарнымъ, что вопросъ былъ разрѣшенъ утвердительно. «Коронною» пьесой былъ окончатель-но назначенъ озеровскій «Эдипъ», а послѣ него,

по предложенію Орлая, ради практики воспитанниковъ въ иностранныхъ языкахъ, положено было поставить по одной небольшой нѣмецкой и французской комедіи или водевилю; выборъ ихъ предоставлялся профессорамъ этихъ языковъ, а режиссерство — Кукольнику, говорившему свободно на обоихъ языкахъ.

— Въ сію статью я не мѣшаюсь,—сказалъ Никольскій, пожимая плечами. — Но нашей россійской пьесы я вамъ, молодой человѣкъ, не могу довѣрить, какъ не довѣряю вашимъ собственнымъ виршамъ.

— А кстати, Парфеній Ивановичъ, — съ улыбкой замѣтилъ тутъ Орлай:—вѣдь у насъ проявился здѣсь еще второй стихотворецъ.

— Кто такой?

— А вонъ Гоголь-Яновскій. Николай Васильевичъ! прочтите-ка намъ теперь ваши «Двѣ рыбки».

Гоголь, увѣренный, что директоръ давнымъ-давно забылъ уже про его балладу, и очень довольный, что избѣгнетъ такимъ образомъ беспощадной критики Парфенія Ивановича, былъ застигнутъ врасплохъ.

— Увольте, Иванъ Семеновичъ... смущенно пробормоталъ онъ.

— Да баллада вѣдь съ вами?

— Да... т.-е. нѣтъ...

— Нечего вамъ кобениться, какъ упрямый жеребенокъ!—вмѣшался Парфеній Ивановичъ. — Мы всѣ тутъ и безъ того знаемъ, что баллада ваша



изъ рукъ вонъ плоха. Но чѣмъ плоше, тѣмъ лучше: и намъ-то веселѣе, и вамъ здоровѣе; какъ осмѣютъ васъ всенародно, такъ узнаете по крайности цѣну своему непризванному стихотворству.

— Какъ ни плохи мои стихи, но смѣяться надъ ними я никому не позволю... — дрогнувшимъ голосомъ проговорилъ Гоголь и, съ шумомъ отодвинувъ стулъ, стремительно вышелъ вонъ изъ комнаты.

— Одначе! — воскликнулъ Никольскій.

— Это онъ сгоряча, Парфеній Ивановичъ, про *argis et focus* \*), — объяснилъ Орлай: — въ своей балладѣ онъ рассказываетъ о своемъ любимомъ покойномъ братцѣ; а кто изъ насъ дозволитъ смѣяться надъ дорогимъ намъ покойникомъ? Милостивые государи и государыни! послѣдній блинъ, какъ видите, вышелъ комомъ. Что дѣлать? У лучшей хозяйки бываютъ такія прорухи. Засимъ прошу васъ въ гостиную, куда подадутъ намъ кофе. А вы, Несторъ Васильевичъ, сыграли бы для нашего торжественнаго шествія маршикъ.

И, подъ звуки триумфальнаго марша, все общество изъ залы двинулось въ гостиную. Кукольникъ для своихъ 14-ти лѣтъ игралъ на фортепiano уже весьма недурно, и за маршемъ послѣдовала арія изъ моцартовскаго «Донъ-Жуана», а за аріей — вальсъ Ланнера

Вдругъ изъ залы влетѣла въ гостиную вальсирующая пара: Базили съ Лизанькой Орлай. Иванъ Семеновичъ захопалъ въ ладоши:

\*) Изъ-за алтаря и очага.



Иванъ Семеновичъ  
ОРЛАЙ.



— Bravo! Намъ, старикамъ, видно, ничего не остается, какъ обратиться въ кабинетъ.

Въ кабинетѣ тѣмъ временемъ былъ уже открытъ ломберный столъ. Четверо изъ господъ педагоговъ усѣлись за бостонъ, другіе сгруппировались вокругъ директора-хозяина для оживленной бесѣды. Оживленію не мало способствовали также разнообразные ликеры собственнаго издѣлія Шарлотты Ивановны. А Кукольникъ за фортепіано не унывалъ: когда наступила пауза въ танцахъ, онъ заигралъ «G a u d e a m u s». Съ первыхъ же звуковъ все начальство, какъ одинъ человѣкъ, замурлыкало, затянуло старинную студенческую пѣсню. Едва допѣли, какъ расходившійся хозяинъ крикнулъ молодому музыканту:

— Ita! ita!

И тотъ заигралъ съ собственными вариациями излюбленную директоромъ венгерскую, подпѣвая:

«— Extra Hungariam non est vita,  
Si est vita, non est ita...» \*).

Самъ Иванъ Семеновичъ и землякъ его, профессоръ Билевичъ, вторили вполголоса.

На воспитанниковъ однако наибольшій эффектъ произвела извѣстная пѣсенка Беранже: «Le marquis de Carabas», которую, по общей просьбѣ гимназистовъ, съ неподражаемою игривостью пропѣлъ Ландраженъ. Когда, около полуночи, всѣ распрощались съ гостеприимными хо-

\*) Въ Венгріи нѣтъ жизни, а коли есть, такъ не такая.

Гоголь-гимназистъ.

зьявами и молодежь стала подниматься по лѣстницѣ въ свой третій этажъ «для положенія себя въ постели», Кукольникъ затушулъ ту-же пѣсенку, очень удачно подражая Ландражену, а товарищи съ одушевленіемъ подхватили рефрэнъ:

«Chapeau bas! chapeau bas!  
Gloire au marquis de Carabas!» \*)

А Гоголь? Онъ давно лежалъ подъ своимъ одѣяломъ; но ему не спалось, и онъ безпокойно поворачивался съ бока на бокъ, по временамъ лишь тяжко вздыхая.

— Ты о чемъ это, Никоша? — вприсонкахъ спросилъ его Данилевскій, кровать котораго отдѣлялась отъ его кровати только табуретомъ.

Гоголь притворился спящимъ и пустилъ въ отвѣтъ густой храпъ

Не могъ-же онъ, въ самомъ дѣлѣ, признаться, что изорвалъ на мелкіе лоскуточки единственный списокъ своей драгоцѣнной баллады: «Двѣ рыбки», которая такимъ образомъ навсегда утратилась для потомства.



\*) Шапки долой! шапки долой! Слава маркизу Карабасу.



## ГЛАВА IV.

### Дошутися.

**М**одходила масленица, а съ нею и день гимназическаго спектакля. На долю Гоголя въ озеровской трагедіи выпала незначительная роль верховнаго жреца храма Эвменидъ, да и той онъ не могъ подучить на-зубокъ: очень ужъ тяжеловѣсны были эти «полуклассическіе» александринскіе ямбы. Куда болѣе занимала его самая обстановка театра, потому что, съ разрѣшенія начальства, на этотъ разъ имѣлось въ виду пригласить зрителями и жившихъ въ Нѣжинѣ ближайшихъ родственниковъ молодыхъ актеровъ, и, чтобы не ударить лицомъ въ грязь, ставили «настоящія декорации», а Гоголю, какъ изрядному рисовальщику, поручили сооруженіе ихъ и раскраску. Во время рекреаций, когда всѣ прочіе гимназисты гуляли, рѣзвились, онъ не дѣлалъ ни шагу изъ запасной классной комнаты, спеціально отведенной господамъ актерамъ, и съ рѣдкимъ усердіемъ клеилъ, малевалъ.

Разъ, впрочемъ, Данилевскій засталъ его тамъ и за другимъ дѣломъ: Гоголь держалъ въ рукахъ ручное зеркальце и корчилъ самъ себѣ уморительныя рожи.

— Ты что это, Никоша, мимику, что-ли, изучаешь?— спросилъ Данилевскій.

— А то какъ-же? — былъ отвѣтъ. — Вѣдь коли играть этакого столѣтняго старикашку, такъ надо и выглядѣть старикомъ. Вотъ зубы только мѣшаютъ: никакъ не могу добиться, чтобы носъ сходился съ подбородкомъ, погляди-ка.

Данилевскій расхохотался: благодаря крючковатому носу и выдающемуся подбородку, другъ его почти достигалъ уже своей цѣли.

— Ну, что, «изряднѣхонько»?

— Превосходно! Только вотъ что я тебѣ скажу, дружище: ты забываешь, что у верховнаго жреца долженъ быть видъ строгій, величественный, а у тебя выходитъ, извини, какая-то карриатура на жреца, замухрышка, надъ которымъ не грѣхъ и посмѣяться.

— Что и требовалось доказать. По крайней мѣрѣ увидятъ, что въ этакой ходульной пьесѣ гораздо болѣе комизма, чѣмъ трагизма.

— Ничего не увидятъ, какъ развѣ то, что ты не трагикъ, а комикъ. Но это и безъ того намъ всѣмъ извѣстно.

— По природѣ-то я не комикъ, а меланхоликъ,— серьезно и какъ-бы съ отгнкомъ грусти промолвилъ Гоголь:—ваши товарищескія игры,

напр., не доставляютъ мнѣ ни малѣйшаго удовольствія...

— Вотъ то-то и удивительно, — подхватилъ Данилевскій: — какъ объяснить себѣ такое противорѣчье въ твоей натурѣ? Ставить другихъ въ нелѣпое, смѣшное положеніе, напротивъ, доставляетъ тебѣ большое удовольствіе.

— Потому что этимъ я разгоняю свое тоскливое настроеніе. Да и моя-ли вина въ томъ, что у меня есть нѣкоторый даръ подмѣчать все смѣшное?

— Какъ-бы этотъ даръ не обошелся тебѣ разъ слишкомъ дорого!

Опасеніе Данилевскаго скоро оправдалось. Началось дѣло на урокѣ у учителя пѣнія, Ѳедора Емельяновича Севрюгина. Въ гимназическомъ хорѣ «для порядка» должны были участвовать всѣ воспитанники, какъ способные къ музыкѣ, такъ и лишенные музыкальнаго слуха. Къ числу послѣднихъ принадлежалъ и Гоголь. И вотъ на такомъ-то урокѣ хорового пѣнія онъ взялъ высокую ноту настолько «мимо», что даже привышій къ такимъ фальшивымъ нотамъ у учениковъ Ѳедоръ Емельяновичъ не выдержалъ.

— Экой вы глухарь, Яновскій! — замѣтилъ онъ по привычкѣ нараспѣвъ и запиликалъ на своей скрипичѣ подъ самымъ ухомъ Гоголя. — Пропойте соло.

— «Экой вы глухарь, Яновскій! Пропойте соло!» — затянулъ совершенно подъ тонъ ему Гоголь.



Остальные школьники захохотали, учитель же справедливо возмутился.

— Есть-ли у васъ совѣсть, Яновскій!—вскричалъ онъ.

— Совѣсть-то есть, да голосъ ея не всегда слышу: глухарь! что подѣлаешь?

«У сусида хата била,  
У сусида жинка мѣла,  
А у мене ни хатинки,  
Нема счастья, нема жинки...» \*)

— Замолчите-ли вы!—прикрикнулъ на неугомоннаго Севрюгинъ.—Вы больше не будете пѣть у меня!

— Никогда?

— Никогда.

— Не знаю, какъ и благодарить васъ, Федоръ Емельяновичъ...

— Будетъ вамъ паясничать! Наши счеты кончены.

Такимъ образомъ Гоголь, дѣйствительно, навсегда былъ избавленъ отъ хороваго пѣнія. Шалость его такъ и прошла бы ему безнаказанно, не послѣдуй вслѣдъ за нею другая.

Было это на урокъ физики у профессора математическихъ наукъ, Казимира Варѣоломеевича Шаполинскаго. Изъ всѣхъ профессоровъ Шаполинскій пользовался едва ли не наибольшимъ уваженіемъ и симпатіею учениковъ; глубоко преданный своему дѣлу, онъ излагалъ

\*) Изъ «Наталки-Полтавки» Котляревскаго.

свои предметы сжато, точно и почти съ юношескимъ жаромъ, хотя ему и подходилъ уже четвертый десятокъ. Живя бобылемъ, онъ вель самый тихій, скромный образъ жизни истаго ученаго; въ критическіе моменты школьнаго быта отстаивалъ интересы воспитанниковъ и вообще относился къ молодежи съ душевною теплотой и неизмѣннымъ прямодушіемъ. Лѣтнихъ онъ серьезно журилъ, а на малоспособныхъ къ математическимъ вычисленіямъ рукой махнулъ. Къ таковымъ принадлежалъ и Гоголь; но лично къ Гоголю Шаполинскій выказывалъ доброе расположеніе ради его родителей, съ которыми былъ знакомъ еще съ прѣжняго времени.

Переспросивъ заданный урокъ, Казимиръ Варооломеевичъ сошелъ съ кафедръ къ большой класной доскѣ и вооружился мѣломъ.

— Теперь мы приступимъ къ теоріи рычага, — объявилъ онъ. — Это требуетъ особеннаго сосредоточенія мыслей, и потому прошу, господа, полнаго вниманія.

— Вострубимъ, братіе, яко во златокованныя трубы, въ разумъ ума своего и возвѣмъ мудрости своя! — слышалось съ задней скамейки.

Профессоръ узналъ голосъ школьника.

— Если вы, Яновскій, не въ состояніи слѣдить за мною, то по крайней мѣрѣ не затрудняйте мнѣ моего дѣла, — спокойно проговорилъ онъ, и, изобразивъ мѣломъ на доскѣ «идеальный» рычагъ, принялся объяснять его теорію.

Объясненіе не пришло еще къ концу, какъ

донесшійся до слуха Шаполинскаго съ задней скамейки шумъ отъ шарканья нѣсколькихъ ногъ и скрипа гусиныхъ перьевъ заставилъ его оглянуться. Шумъ исходилъ отъ группы мальчиковъ, стѣснившихся около Гоголя.

— Опять вы, Яновскій!—сказалъ онъ.—Безъ проказъ ни на часъ.

— Да мы, Казимиръ Варѣоломеевичъ, провѣряемъ теорію рычага на практикѣ, — отозвался названный, поднимая на воздухъ свою тетрадь.

— Покажите-ка, что у васъ тамъ.

Гоголь вышелъ къ профессору съ тетрадью. Тотъ раскрылъ ее и въ недоумѣніи пожалъ плечомъ: цѣлая страница вдоль и поперекъ была изрисована одною заглавною буквою *D* и притомъ такими каракулями, точно ворона по бумагѣ прогулялась.

— Вмѣсто того, чтобы стараться вникнуть въ слова профессора, вы вотъ какими пустяками занимаетесь! Уразумѣли вы хоть кое-что изъ моего объясненія?

— Кое-что—да-съ.

— Такъ вотъ вамъ губка. вотъ мѣлъ. Сотрите мой рисунокъ и начертите вновь.

Рисовать, какъ сказано, Гоголь былъ уже мастеръ. Одного взгляда на профессорскій чертежъ ему было довольно, чтобы запечатлѣть его въ памяти. Стеревъ чертежъ губкой, онъ тотчасъ возстановилъ его опять мѣлкомъ съ прежнею точностью.

— Вѣрно,—сказалъ Шаполинскій.—А дальше что же? Все ли тутъ у васъ, что нужно?

Гоголь всталъ втупикъ.

— Вотъ видите ли, — съ мягкимъ укоромъ продолжалъ профессоръ. — Въ наукахъ, особенно въ точныхъ, какъ физика и математика, верхоглядство хуже полнаго незнанія. Голова, набитая отрывочными, беспорядочными свѣдѣніями, подобна библіотекѣ, къ которой ключъ утерянъ. Вы забыли даже, что для объясненія чертежа надо выставить на немъ буквы.

— Ахъ, да!

Гоголь сталъ выставять по угламъ чертежа начальныя буквы латинскаго алфавита: *A*, *B*, *C*; но когда дѣло дошло до буквы *D*, правая нога его на полу, словно машинально, пришла въ вращательное движеніе, а правая рука вывела на доскѣ пребезобразное *D*, наподобіе тѣхъ, что красовались въ его тетради.

— Вы, кажется, даже писать разучились! — возмутился Казимиръ Варѣоломеевичъ, который, при всемъ своемъ благодушіи, не выносилъ «профанации науки».

— А это, знаете, оттого, что въ теоріи рычагъ — одно, а на практикѣ — другое, — отвѣчалъ Гоголь. — Вѣдь рука человѣческая отъ плеча до кисти рычагъ? — вы сами намъ говорили.

— Рычагъ, конечно.

— И нога тоже рычагъ?

— Ну, да, понятное дѣло.

— Такъ отчего же оба рычага только до тѣхъ поръ въ нашей власти, доколѣ они дѣйствуютъ дружно, по одному направленію? Лишь только

вы пустите ихъ въ ходъ врозь, направо да налѣво—и конецъ, стопъ машина!

— Я васъ, милый мой, не совсѣмъ въ толкъ возьму: какъ такъ врозь?

— А вотъ такъ: верхнимъ рычагомъ вы выводите на доскѣ букву *D* справа налѣво, а нижнимъ производите на полу такое же круговое движеніе слѣва направо. И у васъ самихъ, повѣрьте, буква *D* выйдетъ не лучше моей. Не попробуете ли?

Онъ подаль профессору мѣлокъ. Чѣмъ глубже умудренъ человѣкъ въ научной области, тѣмъ онъ по большей части неопытнѣе, простодушнѣе въ житейскихъ мелочахъ. И человѣкъ науки поддался на удочку шалуна. Принявъ мѣлокъ, онъ носкомъ правой ноги сталъ кружить по полу, а правую руку въ то же время занесъ надъ доскою. чтобы начертать размашистое *D*. Но не тутъ-то было: рука противъ его собственной воли двинулась не влѣво, а вслѣдъ за ногою—вправо.

— Вотъ такъ штука...—пробормоталъ про себя Шаполинскій и, взявъ непослушную руку кистью другой руки за локоть, повторилъ опытъ.

Но, будучи довольно плотной комплекціи и вынужденный стоять во время опыта журавлемъ на одной ножкѣ, онъ насильственнымъ круженіемъ руки въ противоположную сторону отъ вращающейся ноги вывелъ себя изъ равновѣсія и, пожалуй, совсѣмъ его потерялъ бы, еслибы во-время не ухватился за плечо стоявшаго тутъ-же Гоголя. Уваженіе воспитанниковъ къ почтенному профессору было такъ велико, что послышавшееся—было

на скамьяхъ легкое пересыпаніе гороха невольнаго смѣха тотчасъ же прекратилось, когда Шаполинскій окинулъ классъ не столько гнѣвнымъ, сколько смущенно-укорительнымъ взглядомъ.

— Я упустилъ изъ виду, — сказалъ онъ, — что рычаги нашего тѣла находятся въ нѣкоторой органической связи между собою. Но объ этомъ въ свое время. Теперь же позвольте докончить слѣдующій урокъ.

Отеревъ платкомъ выступившій у него на раскраснѣвшемся лицѣ потъ, Казимиръ Вареоломеевичъ со всегдашнею точностью и ясностью сталъ досказывать урокъ и окончилъ его какъ разъ къ звонку.

— Поняли, господа?

— Какъ не понять! — былъ единоголосный отвѣтъ.

— И вы, Яновскій?

— Да-съ

— Очень радъ. До свиданья, господа.

— До свиданья, Казимиръ Вареоломеевичъ.

Этимъ случай и былъ бы исчерпанъ, еслибы профессору при самомъ выходѣ изъ класса не вспомнилось еще чего-то, что онъ нашелъ нужнымъ добавить къ сказанному. Онъ обернулся на порогъ и обомлѣлъ: слѣдовавшій за нимъ по пятамъ Гоголь кружилъ по полу правою ногою, а правою рукою выводилъ по воздуху букву *D* и вдругъ тяжеловѣсно покачнулся, какъ давеча самъ профессоръ. Очевидно, школьникъ передразнивалъ его, и Шаполинскій — что случалось съ нимъ очень

рѣдко—забылся: схватилъ своего двойника за оба узенькія плеча и такъ неистово затрясъ его, что у Гоголя дыханье сперло, душа въ пятки ушла: вотъ-вотъ треснетъ объ полъ—и духъ вонь.

— Чтò я вижу!—раздалось тутъ около нихъ громогласно. — Чтò это у васъ тутъ, Казимиръ Варѣоломеевичъ?

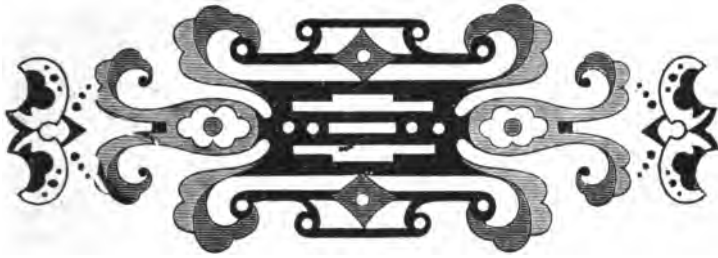
Тотъ разомъ пришелъ опять въ себя и выпустилъ изъ рукъ свою жертву. Передъ нимъ стоялъ самъ директоръ Орлай! Сильно сконфуженный, Казимиръ Варѣоломеевичъ для собственнаго уже оправданія вынужденъ былъ объяснить причину своей ручной расправы.

— Всему есть мѣра, Яновскій!—загрохоталъ Громовержець.—На васъ за послѣднее время накопилось столько жалобъ со стороны господъ преподавателей, что пора наконецъ и итогъ свести: сегодня же будетъ созвана для этого конференція.

-- Насмѣшливость, Иванъ Семеновичъ, вообще въ натурѣ малороссовъ,—заступился за школьника добрякъ Шаполинскій: -- этимъ отчасти объясняются его неумѣстныя выходки.

— Объясняются, но не оправдываются. Дурные поступки наши рѣдко являются прямымъ послѣдствіемъ нашей слабой природы; по большей части они совершаются по нашей доброй или, правильнѣе сказать, злой волѣ. Какого рода несовершенства — природы или воли — сильнѣе у Яновскаго, одинъ я не берусь рѣшить и отдаю вопросъ на судъ конференціи.





## ГЛАВА V.

### Умоизступленіе или притворство?

**Н**ока воспитанники, по окончаніи послѣ-обѣденныхъ уроковъ, въ ожиданіи вечерняго чая, предавались «свободному отдохновенію» въ рекреационномъ залѣ на одномъ концѣ соединительнаго коридора между двумя флигелями второго этажа, — на другомъ концѣ того-же коридора, въ конференцъ-залѣ весь учебно-воспитательный персоналъ собрался въ экстренное засѣданіе для рѣшенія судьбы одного изъ нихъ. Естественно, что товарищамъ подсудимаго было очень любопытно знать, что творится за закрытыми дверьми судилища. Поэтому, когда тутъ, черезъ рекреационный залъ, промелькнула къ конференцъ-залѣ стройная, щеголеватая фигура инспектора, Кирилла Абрамовича Моисеева, молодежь нагнала его, обступила кругомъ и осыпала вопросами.



— Ничего, ничего, господа, пока не рѣшено,—уклонился Моисеевъ, отмахиваясь бывшею у него въ рукахъ пачкой бумагъ.—Будутъ разсматривать еще вотъ кондукитные списки.

— А! такъ это наши кондуиты? Покажите ихъ намъ, Кирилль Абрамовичъ! Кто изъ насъ въ чемъ проштрафился?

Должность инспектора въ нѣжинской гимназiи не оплачивалась особымъ жалованьемъ, а предоставляла исполнявшему ее только казенную квартиру. Такъ какъ однако въ тѣ времена квартиры въ глухой провинци были вообще крайне дешевы, то Моисеевъ, молодой еще профессоръ исторiи, географiи и статистики, принявъ два года назадъ должность инспектора не столько изъ матеріальнаго разсчета, сколько изъ одолженiя къ директору Орлаю, и относился къ своимъ инспекторскимъ обязанностямъ довольно равнодушно. Во время обѣда онъ, дѣйствительно, выстаивалъ аккуратно около обѣдающихъ, чтобы своимъ присутствiемъ поддерживать между ними нѣкоторый порядокъ. Но замѣчанiй отъ него почти никто не слышалъ, а за пять минутъ до молитвы онъ тихомолкомъ исчезалъ и затѣмъ появлялся только на нѣсколько минутъ въ музеяхъ, да въ полночь на цыпочкахъ, скрипя своими модными сапогами, обходилъ дозоромъ спальни. Съ воспитанниками, особенно двухъ старшихъ возрастовъ, онъ былъ всегда формально-вѣжливъ, на лекціяхъ своихъ иногда одушевлялся, любилъ блеснуть остроумiемъ; но въ качествѣ инспектора какъ-бы нарочно ступе-

вывался, чтобы не вторгаться безъ надобности въ область директора и надзирателей.

— Показать-то отчего не показать,—сказаль онъ, развертывая свою бумажную пачку: — взглянуть на себя въ этокое зеркало каждому изъ васъ даже назидательно. Объ одномъ только прошу: руки подальше; истреплете мнѣ еще всѣ листы.

Столпившіеся вокругъ него гимназисты наперерывъ старались заглянуть въ «кондуиты» — листы синеватой бумаги, исписанные кругомъ разными почерками трехъ надзирателей: отставного капитана Павлова, нѣмца Зѣльднера и француза Амана.

Школьные провинности и наказанія постоянно чередовались и повторялись; «за небережливость казенныхъ книгъ», «за нерадѣніе къ тетрадямъ», «за неопрятность», «за шумъ во время чтенія евангелія», «за крикъ во время рисовальнаго класса», «за шалость и грубыя шутки», «за неблагопристойность и драку», «за то, что шумѣлъ, бранился и давалъ дулю» — виновные оставлялись безъ булки, безъ чая, безъ одного, безъ двухъ блюдъ или просто на хлѣбѣ и водѣ, стояли по часу, по два въ углу либо на колѣняхъ.

— А что, Кирилль Абрамовичъ, вѣдь мы, оказывается, стараемся для казны,—замѣтилъ одинъ изъ шалуновъ.

— Какъ такъ?

— Да какъ же: вонъ какая экономія, особливо на чаѣ: «безъ 3-хъ стакановъ», «безъ 5-ти стакановъ», «безъ 7-ми стакановъ»! И начальство

зѣло одобряеть, ибо прямо такъ и аттестуетъ «за отлично-дурное поведеніе».

— А я все-же, кажется, всѣхъ отличнѣе, — похвалился Григоровъ: — мнѣ вонъ, я вижу, Егоръ Ивановичъ посвятилъ цѣлую рацею. Нельзя ли прочесть, Кирилль Абрамовичъ?

— Извольте: «Григоровъ за насмѣшки надо мною былъ поставленъ въ уголъ, потомъ за непослушность я ему приказаль стоять на колѣняхъ, но онъ упрямяся, не хотѣлъ стоять и меня нагрубиль удивительнымъ образомъ; за то онъ былъ безъ ужина, на другой день же безъ чаю и безъ обѣда».

— Съ подлиннымъ вѣрно, — подтвердилъ Григоровъ. И только?

— Нѣтъ, на другой же день тутъ объ васъ такой отзывъ: «Григоровъ объявилъ мнѣ, что онъ не будетъ стараться о хорошаго поведенія, и когда онъ видѣлъ, что я ему положеннаго наказанія не прощаю, онъ начиналъ или, лучше сказать, продолжалъ свою грубость противъ меня, сказавши мнѣ много колкихъ словъ, въ которыхъ онъ весьма силенъ».

— Ну, спасибо Егору Ивановичу: хотъ напослѣдокъ воздалъ по заслугамъ.

— А есть ли здѣсь что и объ Яновскомъ? — спросилъ Данилевскій, который о предстоящей участи своего друга безпокоился, казалось, даже болѣе самого Гоголя.

— Есть, хотя и немного, — отвѣчалъ Кирилль Абрамовичъ: — вонъ тутъ говорится, что, «Янов-

скій былъ безъ чаю за то, что занимался во время класса священника игрушками» \*). Но въ тихихъ омутахъ, вы знаете, что водится? Однако вы задержали меня, господа: въ конференціи меня, вѣрно, уже ждутъ не дождутся.

И, наскоро сложивъ свои «кондуиты», онъ удалился.

— А что, братцы, къ чему его могутъ присудить?—принялись толковать межъ собой товарищи Гоголя, тогда какъ самъ онъ за все время хоть бы слово проронилъ, точно дѣло шло вовсе не объ немъ.

— Посадятъ опять денька на два на пищу св. Антонія...

— А то накормятъ и березовой кашей,—замѣтилъ Григоровъ.

— Ну, ужъ это дудки!—вскинулся Гоголь.— Въ пятомъ классѣ объ этомъ рѣчи быть не можетъ.

Но, какъ онъ ни храбрился, на душѣ у него все-таки кошки скребли. Всѣ школьныя прегрѣшенія его, въ совокупности взятыя, могли, чего добраго, вызвать какую-нибудь крупную кару. И предчувствіе его не обмануло.

На коридорныхъ часахъ пробило 5, урочный часъ вечерняго чая. Но, вмѣсто сторожа-«звонаря», колокольчикомъ еще особо возвѣщавшаго объ этомъ, въ рекреаціонный залъ вошли цѣлыхъ четыре сторожа — инвалида: двое тащили простую,

\*) Приведенное въ кавычкахъ взято буквально изъ подлинныхъ «кондуитныхъ списковъ» нѣжинской гимназіи.

длинную скамью, двое другихъ несли каждый по пучку «березовой каши». За ликторами въ дверяхъ показалась взъерошенная голова надзирателя Зельднера.

— Ага, Яновскій! кто былъ правъ? — сказалъ Григоровъ. — Добраго аппетита!

— Какъ тебѣ не стыдно, Григоровъ! — укорилъ его Данилевскій. — Господа! уйдемте отсюда, чтобы не быть хоть свидѣтелями этого позора.

— Уйдемте, уйдемте! — подхватило нѣсколько голосовъ.

— Господинъ директоръ не велѣлъ никому уходить! — объявилъ Зельднеръ, становясь самъ около принесенной скамьи. — А вы, Яновскій, ступайте-ка сюда и снимите сюртукъ. Пожалуйста, безъ церемоніи.

Надзиратель подалъ ликторамъ знакъ — помочь осужденному. Но тотъ, блѣдный какъ смерть, точно приросъ къ полу.

— Nun, wird's bald? Aber was ist Ihnen, Яновскій? (Ну, скоро ли? Но что съ вами, Яновскій?).

Черты Гоголя внезапно исказились, и онъ съ пронзительнымъ, нечеловѣческимъ воплемъ грохнулся на полъ. Поднялся общій переполохъ.

— Воды! воды! — крикнулъ Орлай, входившій только-что въ залъ во главѣ членовъ конференціи.

Съ выкатившимися бѣлками глазъ, Гоголь бился на полу и хрипѣлъ сквозь оскаленные зубы:

— Бейте меня!.. мучьте... рѣжьте... Жила по жилѣ... капля по каплѣ...

— Оставьте, господа, не троньте его пока! —

говориль Иванъ Семеновичъ воспитанникамъ, которые, участливо столпившись около распро-  
стертаго товарища, хотѣли приподнять его.—Гдѣ же вода-то?

Вода была подана; но едва лишь холодная струя ея брызнула въ лицо Гоголя, какъ онъ съ прежнимъ дикимъ крикомъ вскочилъ съ пола, схватилъ поданный кѣмъ-то передъ тѣмъ стулъ и сталъ размахивать имъ по воздуху съ такимъ остервенѣніемъ, что всѣ кругомъ попятились назадъ.

— Рѣжьте меня!.. бейте!..—вопилъ онъ и съ такимъ азартомъ хватилъ стуломъ объ полъ, что ножка отлетѣла.—Бѣдная маменька! Бѣдная, бѣдная! До смерти замучили единственнаго сына...

И, скрежеща зубами, съ пѣною у рта, онъ снова повалился на полъ.

— Отнесите-ка его въ лазаретъ,—приказаль Орлай четверемъ сторожамъ, и тѣ не безъ опаски принялись подымать больного съ пола.—Осторожнѣй вы, осторожнѣй!

— Со страха, видно, помѣшался,—вполголоса разсуждали межъ собой перепуганные не на шутку наставники и гимназисты.

— Отъ такого наказанія хоть кто съ ума сой-  
детъ! — съ горечью замѣтилъ Данилевскій, котораго болѣзненный припадокъ друга взволноваль болѣе другихъ.

— Ну, теперь вопросъ о наказаніи упразднился самъ собою, — сказалъ Орлай. — Сама судьба разсѣкла Гордіевъ узель.

Подобно другимъ, онъ ни мало такъ-же не со-

\*

мнѣвался во временномъ умоизступленіи Яновскаго. Какъ выше уже упомянуто, Орлай былъ не только педагогомъ, но и медикомъ. Поэтому, хотя по штату гимназіи и полагалась должность врача, Иванъ Семеновичъ, соблюдая казенные интересы, а также изъ любви къ искусству, самъ лѣчилъ и воспитанниковъ и служащихъ, — разумѣется, безвозмездно. Единственнымъ помощникомъ ему въ этомъ дѣлѣ служилъ лазаретный фельдшеръ Евлампій, по прозванію Гусь, заслужившій эту кличку какъ за свою неутолимую гусиную жажду, такъ и за свои огромныя красныя лапищи и непомерно раздувшійся лиловый носъ, напоминавшій впрочемъ не столько гусиный клювъ, сколько зрѣлую сливу. Дѣло свое однако Гусь зналъ хорошо. Съ привычною расторопностью раздѣвъ бѣсноватаго, онъ уложилъ его въ постель и намоталъ ему на голову пропитанное уксусомъ полотенце, между тѣмъ какъ самъ Иванъ Семеновичъ изготовлялъ какую-то микстуру.

— Выпейте-ка, другъ мой, — отеческимъ тономъ говорилъ Орлай, поднося къ губамъ больного ложку съ лѣкарствомъ. — Это васъ успокоитъ.

Попавъ въ постель, Гоголь и безъ того уже угомонился и лежалъ пластомъ на спинѣ съ закрытыми вѣками, съ стиснутыми зубами. Хотя по щекамъ его текли обильныя струйки уксуса, щекоча своимъ рѣзкимъ духомъ его обоняніе, но онъ, словно въ забытіи, на слова директора даже не пошевелился.

— Придется насильно влить,—рѣшилъ Иванъ Семеновичъ.— Зажми-ка ему ноздри, Евлампій.

Одна изъ красныхъ гусиныхъ лапъ самымъ добросовѣстнымъ образомъ исполнила приказаніе начальства. Чтобы не задохнуться, Гоголю волей-неволей пришлось разжать ротъ, и лѣкарство моментально отправилось по назначенію. Но оно должно-быть было куда невкусно, потому что больной съ омерзѣньемъ процѣдилъ сквозь зубы:

— Фу!

— Никакъ въ себя приходитъ?—замѣтилъ Орлай.— Николай Васильевичъ! голубчикъ! какъ вы себя теперь чувствуете?

— Какъ завороченный внутрь дикобразъ, который проглотилъ ежа,—отвѣчалъ Гоголь, по-прежнему не раскрывая глазъ.

— Гмъ!—усмѣхнулся Орлай.— Юморъ васъ, я вижу, еще не оставилъ: это—добрый знакъ. Черезъ полчаса, Евлампій, ты напоишь молодого человѣка ромашкой съ шалфеемъ. Да накрой его еще двумя одѣялами, чтобы хорошенько пропотѣлъ. А микстуру давай каждый часъ. Да надолго, смотри у меня, не отлучайся изъ лазарета!

— Помилуйте, ваше превосходительство! Когда же я?..

— Когда горло опять пересохнетъ. Точно я тебя, гуся лапчатого, не знаю.

— Помилуйте-съ... въ кои вѣки разъ... Ужъ будьте благонадежны. Но ежели они снова взбѣсятся? Мнѣ одному вѣдь не управиться.

— Такъ кликнешь кого-нибудь изъ сторожей.



Да вотъ и господинъ Высоцкій не откажется, конечно, пособить, буде нужно.

Послѣднія слова относились къ единственному въ то время, кромѣ Гоголя, пациенту, пансіонеру 7-го класса, Высоцкому, который постоянно страдалъ глазами и потому цѣлыя недѣли, бывало, проводилъ въ лазаретѣ въ дымчатыхъ очкахъ и съ надвинутымъ до самой переносицы зеленымъ зонтикомъ, защищавшимъ его воспаленные глаза отъ слишкомъ яркаго дневного свѣта.

— Что-жь, я съ удовольствіемъ сдѣлаю все, что могу, для больного товарища, — отозвался Высоцкій.

— Ну, вотъ. Впрочемъ, никакихъ экстренныхъ мѣръ, надѣюсь, болѣе не потребуетъ, потому что послѣ пароксизма наступила уже реакція.

Спустя полчаса, фельдшеръ съ дымящеюся чашкою потогоннаго въ рукахъ стоялъ надъ изголовьемъ пациента.

— Ваше благородіе! а, ваше благородіе! не откушаете ли чашечку нашей лучшей лазаретной романи?

Дешевое острословіе лазаретнаго юмориста, переименовавшаго ромашку въ романею, ради ласкавшаго его слухъ созвучія названій, не тронуло школьнаго остряка. Лежа съ полуприщуренными глазами, онъ и ухомъ не повелъ.

Вотъ не было печали, да черти накачали! — проворчалъ Евлампій и склонился надъ неподвижнымъ, чтобы убѣдиться, точно ли онъ спитъ или только притворяется.

Въ тотъ-же мигъ одна изъ рукъ паціента ухватила фельдшера за лиловую сливу, замѣняющую ему органъ обонянія. Держа въ рукахъ полную до краевъ чашку, Евлампій не имѣлъ возможности защититься и заголосилъ благимъ матомъ:

— Ой-ой! оторветъ! ей-богу, оторветъ съ корнемъ!

— Корень я тебѣ, такъ и быть, на разводъ оставлю. Только, чуръ, братъ, не урони чашки! Боже тебя упаси! Экономъ на счетъ поставитъ,— говорилъ наставительно Гоголь, продолжая терзать несчастнаго Гуса за клювъ вправо да влѣво.

Чашки тотъ не уронилъ, но добрую половину содержимаго волей-неволей вылилъ на грудь паціента.

— Ахъ, чортъ!— буркнулъ Гоголь, выпуская фельдшерскій носъ, и, отряхнувшись, присѣлъ на кровати.

Евлампій вытаращилъ на него глаза.

— Да вы, ваше благородіе, никакъ все только шутки шутили?

— Какія шутки! Я просто расквитался съ тобою твоею же монетой.

— Но вы и начальство вѣдь за носъ повели? А я, право же, такъ и чаялъ, что быть мнѣ безъ носа, какъ безъ шпаги.

— То-же думала нѣмочка, которую Суворовъ въ пражскомъ театрѣ взялъ за носъ, когда она вошла къ нему въ ложу съ букетомъ цвѣтовъ отъ имени всей Праги.

— Да зачѣмъ же онъ взялъ ее за носъ?

— Затѣмъ, чтобы поцѣловать тоже за всю Прагу.

— Ишь ты!—ухмыльнулся Евлампій.—А меня-то ваше благородіе не поцѣловали?

— Такого красавчика—только и недоставало! Подай-ка сюда мой кошелекъ.

Доставъ изъ своего тощаго кошелька мелкую серебряную монету, Гоголь вручилъ ее фельдшеру съ наказомъ сбѣгать въ лавочку за банковской варенья, а что выторгуешь—распить за его, Гоголя, здоровье.

— Дай Богъ вамъ сугубо! Не успѣетъ стриженая дѣвка косы заплести... А сами вы, ваше благородіе, теперича ложитесь-ка опять въ растяжку: неравно кто изъ начальства заглянетъ.

— Обо мнѣ, братику, не хлопочи. Самъ-то, смотри, держи языкъ за зубами.

— Нешто я о двухъ головахъ, али совсѣмъ безголовый? Гомо сѹмъ, хоть и гусемъ именуюсь.





## ГЛАВА VI.

### Новый другъ, но лучше-ли старыхъ двухъ?

**В**торой пациентъ Евлампія, семиклассникъ Высоцкій, во время всей описанной выше сцены держалъ себя совершенно безучастно. Давеча, при входѣ директора, онъ, разумѣется, всталъ, поспѣшно спрятавъ какую-то книгу. Но едва только Иванъ Семеновичъ скрылся за дверью, какъ книга опять появилась на подоконникѣ и поглотила все вниманіе молодого студента. Даже тогда, когда носъ фельдшера подвергся опасности быть оторваннымъ «съ корнемъ», Высоцкій изъ-подъ зеленаго зонтика, поверхъ темныхъ очковъ, окинулъ Гуся и его мучителя только короткимъ взглядомъ. Глаза его встрѣтились съ глазами Гоголя, который словно искалъ у него одобренія и поощренія. Но пристало ли студенту относиться сочувственно хотя бы къ смѣшнымъ, но мальчишескимъ выходкамъ гимназиста? И Высоцкій плотно сжалъ губы, чтобы

онѣ не разѣхались въ улыбку, и уткнулся снова въ свою книгу.

Тутъ вернулся изъ лавочки Евлампій съ заказанною банкой варенья. Поступь его была не совѣтъ уже тверда, а взоръ подернулся маслянистою влагой.

— Пожалуйте, ваше благородіе! Осушилъ наперсточекъ во здравье ваше и родителей вашихъ.

— Вижу, и наперстокъ—таки изрядный, судя по благоуханіямъ устъ твоихъ,—отозвался, морщась, Гоголь.

— Безъ поливки, ваше благородіе, и капуста сохнетъ. Кушайте на здоровье! Вотъ вамъ и ложечка.

— Подай-ка еще одну. Герасимъ Ивановичъ! не отвѣдаешь ли тоже для компаніи?

Никто изъ другихъ воспитанниковъ до сихъ поръ не величалъ Высоцкаго по имени и отчеству. Что Яновскій назвалъ его теперь такъ,—показывало, конечно, что мальчикъ питаетъ къ нему, студенту, особенное почтеніе.

— Спасибо, — съ снисходительною небрежностью отвѣчалъ Высоцкій и, пододвинувъ свой стулъ къ изголовью гимназиста, вооружился поданною ему чайною ложкой,—хотя, признаться, я не большой охотникъ до этихъ лакомствъ. Мое первое лакомство—хорошія книги.

— Кто же ими не лакомится? — сказалъ Гоголь.—А ты что теперь читаешь?

— Да вотъ контрабандой добылъ себѣ цѣлый годъ «Московскаго Телеграфа».

— Почему же контрабандой? Вѣдь журналы изъ нашей библіотеки выдаются, кажется, всѣмъ безпрепятственно?

— Всѣмъ, да не мнѣ: Иванъ Семеновичъ строго-настрога запретилъ мнѣ читать въ лазаретѣ. Но охота пуше неволи, гладъ духовный пуше глада тѣлеснаго. Въ «Телеграфѣ» здѣсь не однѣ только конфетки да варенье—стишки да повѣстухи, но и блюда солидные, сытныя — критика, ученые статьи. Досадно только вотъ, что зрѣніе у меня. въ самомъ дѣлѣ, подгуляло: чуть немного больше считаешь въ зрачкахъ такъ вотъ и заколетъ, круги пойдутъ...

— Такъ ты. Герасимъ Ивановичъ, взялъ бы себѣ лектора.

Высоцкій насупился.

— Что ты, смѣешься надо мною? Надъ природными недостатками смѣяться, братъ, глупо!

— И не думаю смѣяться. Я самъ вотъ, напр., охотно тебѣ почиталъ бы.

На этотъ разъ Гоголь говорилъ такъ прямодушно и серьезно, что въ искренности его нельзя было сомнѣваться.

— А прочитывать ты умѣешь?—спросилъ Высоцкій.— Впрочемъ, испытать не долго. А теперь первымъ дѣломъ расскажи-ка мнѣ, съ чего ты помѣшался или, лучше сказать, для чего?

— А вотъ слушай.

И Гоголь сталъ рассказывать. Хотя слушатель-студентъ относился къ нему все еще нѣсколько свысока, но гимназистъ нашъ передавалъ исторію

своего мнимаго помѣшательства съ такимъ юморомъ, иллюстрировалъ ее такими ужимками и мимикой, что заставилъ студента усмѣхнуться.

— Ты однако, Яновскій, какъ погляжу, заправскій актеръ,—сказалъ онъ.

— Да, это у меня въ крови.

— Какъ такъ? Развѣ ты изъ актерской семьи? Вѣдь отецъ твой, слышалъ я, помнится, полтавскій помѣщикъ.

— По званію своему—помѣщикъ, по призванію же—актеръ и драматургъ.

— Скажите, пожалуйста! Что же онъ сочинилъ такое?

— Двѣ комедіи.

— Ого! Цѣлыя двѣ штуки?

— Да у Котляревскаго ихъ тоже всего двѣ.

— То Котляревскій!

— А то Гоголь-Яновскій!—съ легкимъ уже задоромъ подхватилъ Гоголь, задѣтый за живое пренебреженьемъ, которое выказывалъ Высоцкій къ его отцу.

— Будь такъ,—милостиво согласился Высоцкій.—Что же, комедіи тѣ, вѣрно, изъ помѣщичьяго быта?

— Нѣтъ, изъ простонароднаго.

— Хохлацкаго?

— Да, малороссійскаго.

— И называются какъ?

— Одна—«Собака-вивця».

— Т.-е. «Собака-овца»? Что за дикое названіе!

— А совершенно отвѣчаетъ содержанію пьесы.

— Въ чемъ же ея содержаніе?

— А вотъ въ чемъ. Простофиля-мужикъ ведетъ на ярмарку овцу продавать. Навстрѣчу два солдата.

«—Откуда у тебя, друже, эта собака?»

«—Какая собака?»

«—Да вотъ эта».

«—Эта? Да это же, братове, овца».

«—Хе-хе-хе! Что ты, братику, морочить насъ хочешь, али слѣпъ, что собаки отъ овцы распознать не можешь? А собака-то намъ даже знакомая—нашего полкового майора».

Слово за слово, увѣрили простофилю, что то и вправду не овца, а собака, и отдалъ онъ имъ не только «собаку», но и «кѡпу грѡшей», чтобы «одкараскались» (отвязались).

— Столь же остроумно, сколь и назидательно,— промолвилъ Высоцкій такимъ тономъ, что для сына драматурга оставалось подъ сомнѣнѣемъ: хвалить онъ или трунить.—Ну-съ, а вторая пьеса?

— Вторая — «Простакъ, или хитрость женщины, перехитренная солдатомъ».

— Если пьеса столь же содержательна, сколь названіе ея долгопротяженно, то штука должна быть неподобная, изъ ряда вонъ!

Явная уже иронія студента вогнала въ блѣдныя щеки гимназиста легкую краску, и ему стоило нѣкотораго усилія, чтобы отвѣчать съ прежнею сдержанностью:

— Не изъ ряда вонъ, а все-же можетъ вполнѣ



стать на ряду съ «Москалемъ Чаривничкомъ» Котляревскаго, тѣмъ болѣе что и по содержанию съ нимъ очень схожа.

— Такъ что иной зритель, чего добраго, заподозритъ, что Гоголь-Яновскій просто позаимствовалъ всю пьесу у Котляревскаго и только имена дѣйствующихъ лицъ переставилъ?

Щеки Гоголя еще болѣе зарумянились.

— У тебя, Высоцкій, живъ тоже отецъ?— спросилъ онъ.

— Живъ и здоровъ. А что?

— И ты его любишь?

— Странный вопросъ! Понятно, люблю.

— А что бы сказалъ ты, если бы другой кто такимъ же манеромъ сталъ выражаться на его счетъ?

— М-да, правда твоя: чти отца и мать свою,— проговорилъ Высоцкій болѣе серьезнымъ тономъ. — Кто изъ нихъ двоихъ у кого позаимствовалъ — въ сущности вѣдь и не важно: лишь бы сама пьеса смотрѣлась безъ скуки.

— Ну, а пьеса моего папеньки давалась съ блестящимъ успѣхомъ!

— Гдѣ? Въ городѣ или только въ деревнѣ?

— Въ деревнѣ, но у самого Трошинскаго.

— Это, кажется, бывший министръ юстиціи?

— Да, а теперь первый вельможа на всей Украинѣ; имѣетъ свой домашній театръ...

— Онъ сосѣдъ вашъ по имѣніямъ?

— Не то что сосѣдъ: до него отъ насъ версть тридцать; но родственникъ моей маменьки.

— Та-а-акъ, — протянулъ Высоцкій. — Вотъ гдѣ собака-то зарыта! какъ говорятъ нѣмцы.

— Родство тутъ вовсе не причемъ! Нарочно вотъ, какъ съѣзжу домой на вакаціи, выпрошу у папеньки его пьесу, чтобы поставить ее и здѣсь, въ гимназіи... Ахъ, чортъ возьми!—вырвалось вдругъ у Гоголя. и лицо его омрачилось.

— Что съ тобой?—удивился Высоцкій.

— Вѣдь если меня продержатъ здѣсь въ лазаретѣ до конца масленой, такъ мнѣ и въ спектаклѣ участвовать не придется!

— Да, братъ, на этотъ счетъ отложи попечение: хоть бы тебя и выпустили отсюда, на сцену тебя во всякомъ случаѣ не пустятъ: какъ разъ выкинешь опять сумасшедшее колѣнце. Ну, полно, братъ, чего носъ-то повѣсилъ! Играютъ у насъ тутъ, слава Богу, не въ первый и не въ послѣдній разъ. А чтобы тебѣ попусту не думать объ этомъ, на вотъ книгу: почитай мнѣ, покажи свое искусство.

И началось у нихъ чтеніе; а такъ какъ Гоголь, въ самомъ дѣлѣ, читалъ хорошо, а теперъ для новаго своего пріятеля еще болѣе постарался, то Высоцкій остался вполне доволенъ и заставлялъ его затѣмъ читать уже изо дня въ день. Нерѣдко чтеніе прерывалось болѣе или менѣе остроумною вставкой чтеца или слушателя, имѣвшею обыкновенно какое-нибудь касательство къ товарищамъ или къ гимназическому начальству, и вставка эта вызывала тотчасъ соотвѣтственную реплику второго собесѣдника. Высоцкій былъ несомнѣнно

болѣе начитанъ и умственно болѣе зрѣль, а отчужденность отъ товарищескаго круга вслѣдствіе частаго пребыванія въ лазаретѣ сдѣлала изъ него если не свѣтоненавистника, то довольно желчнаго нелюдима. Во всемъ и во всѣхъ онъ прежде всего подмѣчалъ оборотную сторону, отрицательныя качества, и съ особеннымъ удовольствіемъ изошрялъ свой природный юморъ насчетъ слабостей своихъ ближнихъ. А такъ какъ ехидствовать вдвоемъ куда занятнѣе, чѣмъ въ одиночку, то онъ съ каждымъ днемъ сталъ относиться все болѣе дружелюбно къ посланному ему судьбою лазаретному товарищу, который съ такою вѣрой принималъ его рѣшительныя приговоры о людяхъ и, благодаря бывшей въ немъ также живымъ ключемъ сатирической жилкѣ, подбавлялъ еще къ каждому такому приговору своихъ красокъ, своего «соусу». Самолюбію же Гоголя не могло не льстить, что «студентъ» водится съ нимъ, какъ равный съ равнымъ, и такъ одобрительно усмѣхается надъ всякою его, даже грошевою остротой. Одноклассники навѣщали, разумѣется, двухъ узниковъ въ ихъ лазаретномъ заточеніи, но тѣ и безъ нихъ не скучали. Ёдкій цементъ сатиры въ нѣсколько дней скрѣпилъ двѣ родственныя натуры въ такую дружбу, для которой при иныхъ условіяхъ потребовались бы годы. Когда передъ самую масленицу Высоцкому наконецъ удалось вырваться изъ лазарета, онъ на прощанье не только тепло пожалъ руку Гоголю, но даже облобызалъ его.

— Ну, дружище, не скучай безъ меня,—сказалъ онъ.—Я приложу всѣ старанія, чтобы вытащить тебя изъ этой ямы хотя бы ко дню спектакля.

Гоголь глубоко вздохнулъ:

— Чтò пользы, ежели я самъ не могу играть? Мою роль жреца вѣдь передали уже другому!

— А что, если я выторгую для тебя какую-нибудь пустую рольку хотя бы во французской или нѣмецкой пьесѣ,—возьмешься ты играть ее?

— Возьмусь. Только тогда уже, Герасимъ Ивановичъ, пожалуйста, роль покороче: у меня рѣшительно нѣтъ памяти для этой тарабарщины.

— Добре. Главное—не унывай.

И онъ добился своего: Орлай, убѣдившись, что у его сумасшедшаго пациента умственные способности окончательно возвратились, не только выпустилъ его на волю, но разрѣшилъ ему даже выступить на товарищеской сценѣ въ коротенькой роли добраго сына, которую выхлопоталъ ему его новый другъ у режиссера, Кукольника, въ нѣмецкомъ стихотворномъ «одноактникѣ» («Einakter»). Но чего стоило Гоголю вызубрить свои двадцать стиховъ на «тарабарщинѣ»!

Наканунѣ спектакля были двѣ репетиціи, въ самый день спектакля поутру еще одна. И Гоголь оказался «на высотѣ своей задачи»: съ большою развязностью начиналъ онъ трогательнымъ восклицаніемъ: «Oh, mein Vater!» и, безъ запинки отбарабанивъ свои двадцать стиховъ, не менѣе патетически заканчивалъ: «Nach Prag»!

Но вотъ наступилъ и вечеръ. Зрительная зала, т.-е. та часть торжественнаго зала, преобразованнаго въ театръ, которая была отведена для публики, стала быстро наполняться. Первые ряды стульевъ были предоставлены почетнымъ гостямъ: городскимъ родственникамъ молодыхъ актеровъ и гимназическому начальству. Въ заднихъ рядахъ тѣснились тѣ изъ товарищей актеровъ, которые были ошастливлены входными билетами. Началось представлѣніе съ «коронной» пьесы—озеровскаго «Эдипа». Гоголю видѣть ея не довелось: какъ опытный живописецъ, онъ долженъ былъ въ сосѣдней классной комнатѣ гримировать поочередно всѣхъ актеровъ — сперва для «Эдипа», а затѣмъ и для двухъ иностранныхъ пьесъ. Сбросивъ сюртукъ и засучивъ рукава, онъ артистически расписывалъ то одну «физію», то другую. Судя по долетавшимъ къ нему черезъ коридоръ изъ зрительной залы громкимъ аплодисментамъ, представлѣніе шло гладко; а возвращавшіеся со сцены актеры такъ и пылали радостнымъ волненіемъ.

— Ну, что, Саша, какъ твои дѣла?—обернулся Гоголь въ одномъ изъ антрактовъ къ Антигонъ-Данилевскому и заглядѣлся на него.—Эге! да какъ ты авантаженъ: во лбу свѣтѣль мѣсяцъ, въ затылкѣ звѣзды частыя! Ей-богу, хоть сейчасъ подъ вѣнецъ!

Древнегреческій женскій костюмъ, дѣйствительно, чрезвычайно шелъ къ стройному и хорошенькому отроку, щеки котораго теперь притомъ же горѣли, а глаза сверкали.

— Ну, да...—смущенно усмѣхнулся Данилевскій.—Кто изъ насъ безспорно эффектенъ, такъ это Базили: вылитый Эдипъ!

— Все оттого, что дочка такая славная: глядя, вдохновляешься!—весело отозвался слышавшій ихъ Эдипъ-Базили и дружески похлопалъ «дочку» по спинѣ.—Однако, Антигонушка, идемъ: пора.

Оба могли быть довольны своимъ успѣхомъ: когда занавѣсъ опустился въ пятый разъ, вызовамъ обоихъ не было конца.

Тутъ и Гоголю надо было подумать о своей нѣмецкой роли. Лицо онъ себѣ заблаговременно размалевалъ; нарядъ его требовалъ уже немного: спустить рукава рубашки да натянуть на плечи сюртукъ.

«Эхъ! да вѣдь руки-то совсѣмъ еще въ краскахъ.»

— Семене! подай-ка воды. Такъ вѣдь и есть! Въ кувшинѣ ни капли, и ни одного мало-мальски чистаго полотенца. Чего ты смотришь, старче?

Старикъ-дядька, ворча на паничей, которые вотъ уже четыре кувшина и шесть полотенецъ израсходовали, заковылялъ за водой и полотенцемъ.

— А мыло гдѣ, господа?

Мыло оказалось на полу подъ табуретомъ: у мывшагося послѣднимъ оно выскользнуло изъ рукъ, и онъ не далъ себѣ труда поднять его съ полу. Гоголь наклонился за мыломъ; но оно завалилось такъ неудобно между ножками табурета, что пришлось изогнуться въ три погибели.

Трахъ!—назади пуговица отскочила. Этого еще не доставало! Только-что возвратившійся съ полнымъ кувшиномъ и чистымъ полотенцемъ Симонъ долженъ былъ снова бѣжать за иголкой да ниткой.

А тутъ въ «актерскую» влетѣлъ вихремъ самъ режиссеръ Кукольникъ.

— Яновскій! гдѣ ты застрялъ? Да ты еще не совсѣмъ одѣтъ! Господи! о чемъ ты до сихъ поръ думаль?

Гоголь не сталъ даже оправдываться; у него самого духъ захватывало—не то отъ досадливаго нетерпѣнья, что вотъ изъ-за него задерживается представленье, не то отъ неизбѣжной «театральной лихорадки».

Наконецъ-то руки у него умыты, пуговица пришита, сюртукъ на плечахъ. Старикъ-дядька перекрестилъ его:

— Съ Богомъ!

Въ ожиданіи своего выхода, Гоголь стоитъ за полутемною кулисой. Со сцены доносится «тарабарщина» дѣйствующихъ уже актеровъ. А у самого сердце въ груди такъ и ёкаетъ.

«А ну, какъ на сценѣ забудешь какой-нибудь стихъ? Суфлеръ-то, пожалуй, подскажетъ, да разберешь ли его? И нужно было этому дурню-нѣмцу сочинить свою пьесу стихами! Даже переврать нельзя. Въ самомъ дѣлѣ, помню ли еще все подъ-рядъ? «Oh, mein Vater!..» А дальше-то какъ? Ахъ, чортъ!-Какъ это тамъ? Все лучше еще разъ перечеть»

Онъ бросился изъ-за кулисы въ коридоръ,

но тутъ-же столкнулся носомъ къ носу съ Кукольникомъ.

— Куда, куда? Назадъ! Тебѣ же сейчасъ выходить.

И не успѣлъ Гоголь собрать своихъ пяти чувствъ, какъ энергическій режиссеръ круто повернулъ его за плечи направо кругомъ и, раскрывъ двери въ кулисы, буквально втокнулъ его на сцену. Какъ въ туманѣ, по ту сторону рампы виднѣется многоголовое чудовище — публика, уставившаяся на новаго актера сотнею жадныхъ глазъ. А стоящій тутъ-же, на сценѣ, «Vater» его встрѣчаетъ сына тою самою заключительною фразою, въ отвѣтъ на которую Гоголь долженъ протрезвонить весь свой стихотворный столбецъ. Господи, благослови!

— «Oh, mein Vater!..»

Вырвалось у него это воззваніе съ большимъ чувствомъ, обрывающимся отъ непритворнаго волненія голосомъ, и протянутыя къ родителю руки какъ нельзя лучше иллюстрировали эту трогательную мольбу. Но дальше-то что? Какъ утопающему соломинка, такъ ему было бы дорого одно единственное даже слово. Но тщетно напрягалъ онъ слухъ, чтобы уловить это слово: на бѣду его, сфлеръ прикорнулъ за кулисою на противоположномъ концѣ сцены, и, вмѣсто членораздѣльныхъ звуковъ, до нашего утопленника доносится только какой-то смутный шопоть. Гоголь чувствовалъ: кровь хлынула ему въ голову. Не стоять же этакъ безъ конца истуканомъ на посмѣшище зрителямъ!



Глубоко переведя духъ, онъ крикнулъ съ возможнымъ одушевленіемъ: «Nach Prag!» — махнулъ родителю рукой: «Adieu», молъ, «lieber Vater», и давай Богъ ноги. «Уфъ»!

— Что, братъ, такъ скоро? — удивился Кукольникъ при видѣ входящаго въ «актерскую» Гоголя.

— Стало-быть, отзвонилъ какъ по нотамъ. — былъ отвѣтъ. — Семене! умываться!

Когда, полчаса спустя, занавѣсъ взвился въ послѣдній разъ и на любительскихъ подмосткахъ шипящая нѣмецкая рѣчь смѣнилась благозвучною французскою съ веселыми куплетами, Гоголь, прежній гимназистикъ въ форменномъ платьѣ, вошелъ также въ зрительную залу. Зала была биткомъ полна.

— Сюда, Яновскій! — позвалъ его кто-то изъ заднихъ рядовъ.

Около самой стѣны онъ увидѣлъ Высоцкаго, настоятельно кивавшаго ему издали. Не безъ труда пробрался онъ къ нему между тѣсно-установленными стульями.

— Ты, вѣрно, много выпустилъ изъ своей роли? — тихонько спросилъ Высоцкій, отодвигаясь на своемъ стулѣ, чтобы дать своему новому другу мѣсто около себя.

— Все выпустилъ, кромѣ интродукціи и финала! А другіе развѣ тоже замѣтили?

— Кажись, что нѣтъ. Только Билевичъ что-то шепнулъ Орлаю, и тотъ плечами пожалъ. Многіе ли тутъ смыслятъ по-нѣмецки? Большин-

ство, конечно, думало, что такъ и нужно. Чтò такое, скажи, это большинство? чтò весь нашъ милый Нѣжинъ?—стадо барановъ, которое сдуру блеетъ, чтò заблеетъ первый изъ нихъ.

— Ну, извини, Герасимъ Ивановичъ, въ этомъ я съ тобою не согласенъ!

— Въ чемъ?

— Въ томъ, что у насъ здѣсь одни бараны: по-моему, Нѣжинъ—цѣлый Ноевъ ковчегъ. Особливо хороши наши греки — такъ ихъ и расписалъ бы!

— *Difficile est satiram non scribere* \*), какъ говоритъ Ювеналь. А что, Яновскій, и то вѣдь, ты у насъ писака; попытаться бы тебѣ пустить имъ въ носъ этакого письменнаго «гусара»? Разумѣется, тихомолкомъ, чтобы не выдать себя, и потомъ изъ-за угла наблюдать, какъ они въ про-сонкахъ расчихаются.

— Можно,—съ задумчиво-лукавой усмѣшкой согласился Гоголь.—Только, чуръ, Герасимъ Ивановичъ, другимъ объ этомъ пока ни полслова!

— Ни-ни, само собою. А добрую шепотку бакуна съ кануферомъ и я тебѣ, пожалуй, тоже на сей конецъ предоставлю.



---

\*) Трудно не написать сатиры.



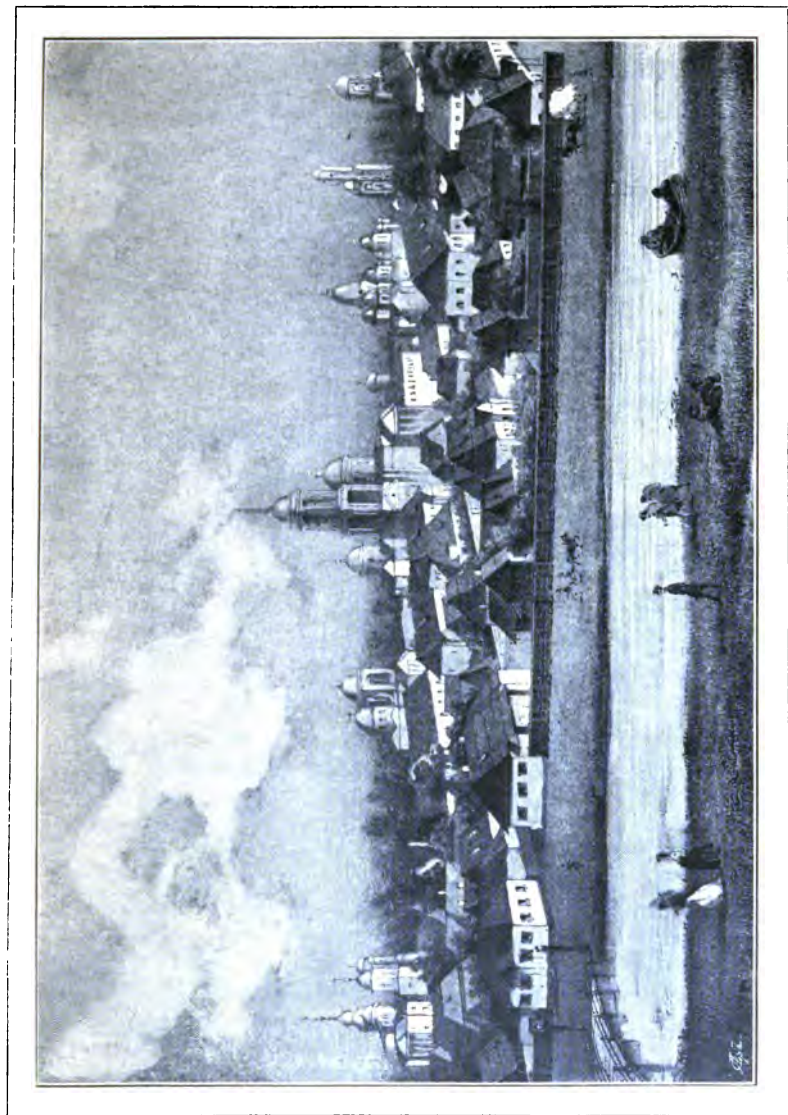
## ГЛАВА VII.

### Какъ былъ пущень «гусарь».

**Н**точно, едва лишь пахнуло весною и рѣка Остеръ сбросила съ себя оковавшую ее за зиму ледяную кору, а оголенные клены, вязы и липы гимназическаго сада одѣлись первымъ зеленымъ пухомъ, какъ богоспасаемый городъ Нѣжинъ также пробудился отъ своей зимней спячки и расчихался, — расчихался отъ пущеннаго ему въ носъ «гусара» \*). На всякое чиханье не наздравствуешь—

\*) Нѣкоторымъ читателямъ, быть-можетъ, будетъ небезъинтересно по настоящему случаю припомнить сдѣланное самимъ Гоголемъ описаніе «гусара», которое поэтому выписываемъ здѣсь дословно:

«Дамы (просто пріятная и пріятная во всѣхъ отношеніяхъ) умѣли напустить такого тумана въ глаза всѣмъ, что всѣ, а особенно чиновники, нѣсколько времени оставались ошеломленными. Положеніе ихъ въ первую минуту было похоже на положеніе школьника, которому сонному товарищу, вставшіе поранѣе, засунули въ носъ гусара, то-есть бумажку, наполненную табакомъ. Потянувши въ просонкахъ



Старый Нѣжинъ.



ся, и ни въ чемъ неповинному Ивану Семеновичу Орлаю пришлось отбояриваться за своего питомца-школяра, когда передъ нимъ, Орлаемъ, предстала вдругъ депутація отъ наиболѣе расчихавшихся горожанъ-грековъ.

Когда, въ XV вѣкѣ, турки окончательно завладѣли Балканскимъ полуостровомъ и стали жестоко угнетать христіанъ-грековъ, послѣдніе цѣлыми семьями эмигрировали въ Малороссію. Въ числѣ городовъ, избранныхъ эмигрантами для своей осѣдлости, былъ и Нѣжинъ. Благодаря предприимчивому, коммерческому духу грековъ и данной имъ Богданомъ Хмельницкимъ привилегіи — беспошлиннаго торга по всей Малороссіи, торговля Нѣжина стала быстро развиваться. Греческая колонія въ Нѣжинѣ сдѣлалась силой, съ которою тяжелымъ на подъемъ, лѣнивымъ хопламъ не легко было считаться. Греки имѣли въ

---

весь табакъ къ себѣ со всѣмъ усердіемъ спящаго, онъ пробуждается, вскакиваетъ, глядитъ, какъ дуракъ, выпучивъ глаза во всѣ стороны, и не можетъ понять, гдѣ онъ, что съ нимъ было, и потомъ уже различаетъ озаренныя косвеннымъ лучемъ солнца стѣны, смѣхъ товарищей, скрывшихся по угламъ, и глядящее въ окно наступившее утро, съ проснувшимся лѣсомъ, звучащимъ тысячами птичьихъ голосовъ, и съ освѣтившеюся рѣчкою, тамъ и тамъ пропадающею блещущими загогулинами между тонкихъ тростниковъ, всю усыпанную нагими ребятишками, зазывающими на купанье, — и потомъ уже наконецъ чувствуетъ, что въ носу у него сидитъ гусарь.»

Когда изъ-подъ пера Гоголя вылились эти живописныя строки, въ памяти его, несомнѣнно, рисовалась подобная же сцена изъ его собственнаго дѣтства въ нѣжинской гимназій, окна которой выходили въ густой садъ, омыаемый заросшимъ тростникомъ Остромъ.

городѣ не только свою собственную церковь, но и свой особый магистратъ, который упраздненъ былъ только въ 1870 году, со введеніемъ на всемъ югѣ общаго городского положенія. Впрочемъ и въ 20-хъ годахъ настоящаго столѣтія нѣжинскіе греки во всемъ бытѣ своемъ значительно уже поддались вліянію коренного населенія и даже межъ собой говорили по-малороссійски; только старики еще съ грѣхомъ пополамъ знали языкъ своихъ предковъ; самое богослуженіе въ греческой церкви производилось уже на славянскомъ языкѣ. За всѣмъ тѣмъ, имѣя свое отдѣльное самоуправленіе и пользуясь по-прежнему торговыми привилегіями, мѣстные греки крѣпко держались еще другъ друга, хотя изъ всѣхъ характерныхъ особенностей ихъ стариннаго быта сохранилась въ полной неприкосновенности едва ли не одна единственная — греческія колбасы, очень твердыя и очень пряныя.

Цѣлымъ пудомъ этихъ самыхъ колбасъ была челомъ Ивану Семеновичу и явившаяся къ нему депутація:

— Прими, батечку пѣне директоръ, доброхотное приношеніе и защити!

Благородныя черты Орлая вспыхнули огнемъ; онъ отступилъ на шагъ назадъ отъ сложеннаго къ ногамъ его «доброхотнаго приношенія» и, съ трудомъ поборая приливъ гнѣва, сухо замѣтилъ:

— Вы, вѣрно, ошиблись въ адресѣ, господа. Никакихъ приношеній я никогда ни отъ кого не принимаю.

Непритворное негодованіе «пана директора» было слишкомъ явно, чтобы оставлять еще сомнѣніе. Депутаты межъ собой немного пошептались, затѣмъ главарь ихъ, пузатый и смуглый, какъ навозный жукъ, выступилъ впередъ.

— Ну, вже такъ! не обезсудь,—сказалъ онъ и, съ низкимъ поклономъ, сунулъ Ивану Семеновичу какую-то обтрепанную, засаленную тетрадку.— Почитай-ка.

— Да что это такое?—спросилъ тотъ.

— Возьми въ ручки и прочитай: самъ увидишь.

— Самъ увидишь!—въ одинъ голосъ, какъ хоръ древнихъ греческихъ трагедій, повторила за своимъ вожакомъ вся черномазая команда.

Не безъ опаски принявъ тетрадь, побывавшую, судя по ея отталкивающему виду, уже въ сотнѣ неопрятныхъ рукъ, Орлай взглянулъ на заглавную страницу. Тамъ стояло:

НѢЧТО О НѢЖИНѢ,

или

**Дуракамъ законъ не писанъ.**

Онъ раскрылъ тетрадь.

— Да вѣдь это цѣлый трактатъ...

— А ужъ тебѣ, батечку, ученому челоуѣку, лучше нашего знать, какъ назвать такую непристойность. Читай.

— Но зачѣмъ мнѣ читать «непристойность»?

— Сдѣлай милость, читай!



Вся депутация разомъ ствѣсила опять поклонъ въ поясъ и повторила:

— Сдѣлай милость, читай!

Иванъ Семеновичъ покачалъ головой и приступилъ къ чтенію «трактата». Онъ былъ раздѣленъ на «отдѣлы». Первый отдѣлъ носилъ названіе: «Освященіе церкви на греческомъ кладбищѣ».

Насупивъ брови, Орлай быстро пробѣгалъ глазами строку за строкой, страницу за страницей. Раза два сжатые губы его раздвинулись презрительною улыбкой. Такъ добрался онъ до второго отдѣла, озаглавленнаго: «Выборъ въ греческій магистратъ».

— Все-таки, господа, я въ толкъ не возьму,— сказалъ онъ, — для чего вы заставляете меня читать этотъ вздоръ? Ибо сочиненіе это крайне слабо..

— Слабо?! — вскинулся толстопузъ-главарь, сверкая своими черными, какъ коринки, глазами. — Такъ ты, батечку, хочешь, чтобъ насъ, грековъ, еще пуще отдѣляли, совсѣмъ съ грязью смѣшали?

— Вы меня не такъ поняли,— успокоилъ его Иванъ Семеновичъ.— Сочиненіе слабо собственно какъ литературная вещь; сути его я не касаюсь..

— Да насъ-то эта суть, пане директоръ, очень даже касается! Мы всѣ обижены, такъ ужъ обижены...

— Но изъ васъ тутъ прямо никто вѣдь не названъ?

— А вотъ Болванаки, Собаконаки, Воропуло, Оплетуло—это мы самые, значить, и есть.

— Такъ это ваши подлинныя имена?

— Гай, гай! якъ же се можно? Но портреты-то наши, все дурное, что здѣсь прописано...

— Тоже ваше? коротко прервалъ Орлай.— Позвольте мнѣ не вѣрить. Среди здѣшней греческой колоніи, какъ я слышалъ, много весьма почтенныхъ людей; а вы, господа, какъ избранные всей колоніей, несомнѣнно самые почтенные. Поэтому васъ нимало не должно трогать, что приписывается бездарнымъ писакой какимъ-то небывалымъ Собаконани и Воропуло.

— Очень даже трогаетъ, потому онъ ругаетъ всѣхъ насъ, нѣжинскихъ грековъ, собаками и ворами, а мы въ нашемъ дѣлѣ какъ одна шайка...

— Какъ одна шайка!—съ одушевленіемъ подхватилъ хоръ.

— Извините, господа,—рѣшительно заявилъ тутъ Иванъ Семеновичъ:—я—человѣкъ занятой, время у меня дорого, и въ дѣлахъ вашей «шайки» я всячески не судья.

— Какъ не судья! какъ не судья!—завопилъ запѣвала, весь также побагровѣвъ отъ задора.— Коли профессоры твои съ школярами ругательно на насъ пишутъ ..

— Что? что такое? пріосанясь, спросилъ Орлай.— Вы забываете, господа, что обвиненіе ваше, крайне оскорбительное для всего ввѣреннаго мнѣ заведенія, должно быть доказано.

— И будетъ доказано! Читай только дальше. Иванъ Семеновичъ снова взялся за тетрадь.

— «Отдѣль III», прочель онъ вслухъ: — «Все-  
дняя ярмарка». Это, что ли?

— Нѣтъ, дальше.

— «Отдѣль IV: Обѣдъ у предводи-  
теля»...

— Еще дальше.

— «Отдѣль V: Роспускъ и съѣздъ сту-  
дентовъ».

— Вотъ-вотъ оно самое и будетъ. Студен-  
ты — это, знамое дѣло, не кто, какъ школяры  
твой, пане директоръ.

— Допустимъ, что такъ. Но съ чего вы взяли,  
что написано это не какимъ-нибудь посторон-  
нимъ бездѣльникомъ, которому вздумалось осмѣять  
и ваши сословные и наши школьные порядки?

— А потому, что мы тѣхъ двухъ бездѣльни-  
ковъ по имени назвать даже можемъ.

— А ихъ двое? Назовите же ихъ.

— Одинъ — школяръ Гоголяновскій.

— Гоголь-Яновскій? — переспросилъ Орлай. —  
Такъ, въ самомъ дѣлѣ, зовутъ одного изъ на-  
шихъ пансіонеровъ. А другой?

— Другой — профессоръ Иеропесь.

— Ну, ужъ этого-то вы подозрѣваете совер-  
шенно напрасно!

— Напрасно? Кому же лучше его знать всѣ  
порядки въ нашемъ магистратѣ?

— Вы, господа, въ настоящемъ случаѣ просто  
ослѣплены вашею личною враждою къ этому  
вполнѣ достойному человѣку. Съ самага прибы-  
тія его сюда изъ Смирны колонія ваша не могла,

я знаю, простить ему, что онъ принялъ должность профессора въ русскомъ заведеніи, не испросивъ предварительно вашего согласія.

— И не смѣлъ принять! Да женился потомъ еще на русской...

— То-то вотъ. Но могу васъ завѣрить, что г-нъ Іеропесъ — человѣкъ самый безобидный и нарочно вредить никому не станетъ. Кромѣ того, долженъ прибавить, что онъ едва ли не менѣе всѣхъ остальныхъ профессоровъ имѣетъ вліяніе на воспитанниковъ—уже потому, что ученіе греческому языку у насъ не обязательно. Такъ и Гоголь-Яновскій, котораго вы считаете авторомъ этого пасквиля, не учится вовсе греческому языку и потому не имѣетъ даже случая говорить съ г-мъ Іеропесомъ. Да кто изъ нѣжинцевъ и безъ того-то не знаетъ, что дѣлается въ вашемъ греческомъ магистратѣ?

— Ну, такъ подай намъ хоть Гоголяновскаго.

— Подай намъ хоть Гоголяновскаго!—повторило эхо депутатовъ.

Иванъ Семеновичъ позвонилъ въ колокольчикъ и вошедшему сторожу отдалъ приказаніе позвать пансіонера пятаго класса Яновскаго; въ ожиданіи же, сталъ читать про себя главу «о студентахъ». Морщины на лбу его снова углубились, и, не дочитавъ, онъ съ досадою закрылъ тетрадь.

— Ну, что?—обернулся онъ къ возвратившемуся сторожу,—а Яновскій гдѣ же?

— Сейчасъ отлучились въ городъ,—отрапортовалъ сторожъ.

— Сейчасъ? при тебѣ?

— Точно такъ. Отпросились у господина надзирателя.

— Когда возвратится, тотчасъ же, слышишь, прислать его ко мнѣ!

— Слушаю-съ.

— Можешь идти. А вамъ, господа, нечего болѣе беспокоиться, съ сухою вѣжливостью обратилъ онъ къ депутатамъ: — буде пансіонеръ Гоголь-Яновскій, точно, оказался бы такъ или иначе причастенъ къ этому вздорному писанію, съ него будетъ взыскано домашнимъ порядкомъ. Что же касается небылицъ на вымышленныхъ горожанъ, то таковыя ни васъ, ни одного другого порядочнаго человѣка не должны трогать. Получите обратно вашу тетрадь и будьте здоровы!

Иванъ Семеновичъ собственноручно растворилъ господамъ депутатамъ дверь Тѣ, видимо, были озадачены такимъ оборотомъ своего иска и начали-было опять шептаться.

— Не угодно ли?—предложилъ «панъ директоръ», съ рѣшительнымъ жестомъ указывая на выходъ.

Отъ всего существа его вѣяло такую начальническую важностью, что чумазые гости поспѣшили извиниться и откланяться.

Свою отлучкой въ городъ Гоголь хотя только на короткое время отсрочилъ свое объясненіе съ директоромъ, но расчетъ его оказался вѣренъ: гнѣвъ вспльчиваго Юпитера-Громовержца успѣлъ уже значительно остыть.

— Почему вы, Яновскій, тогда же не явились ко мнѣ, когда я посылалъ за вами? — спросилъ Орлай, выказывая свое неудовольствіе къ послушнику не столько тономъ голоса, сколько тѣмъ, что называлъ его не по имени и отчеству, а по фамиліи.

— Виновать, ваше превосходительство, — довольно развязно отвѣчалъ Гоголь, приготовившійся уже къ такому вопросу: — но мнѣ необходимо было въ городъ по порученію маменьки... Я получилъ отъ нея письмо... Она велѣла также передать нижайшій поклонъ вашему превосходительству...

Говорилось все это скороговоркой, какъ заученный урокъ, такъ что и довѣрчивый Иванъ Семеновичъ немножко усомнился.

— А когда пришло письмо?

— Когда-съ?.. Да не такъ давно...

— Т.-е. нѣсколько уже дней назадъ, а теперь вдругъ загорѣлось исполнять порученіе? Что же вамъ было поручено?

— Закупить кое-что для дѣвичьей: иголокъ, шелку, нитокъ...

— А вы такой знатокъ по швейной части? Гдѣ же ваши покупки? Снесли наверхъ?

— Н-нѣтъ-съ, я не нашелъ того, что нужно...

— Или, лучше сказать, ничего и не было нужно, потому что и порученья-то никакого не было?

— Изволите видѣть: маменька всегда жалуется, что у этихъ офеней, что продають у насъ въ разность, иголки ужасно хрупки...

— Не виляйте, сдѣлайте милость! Определеннаго порученья вамъ никакого не было, да и поклонъ вы мнѣ передали только такъ, къ слову.

— Нѣтъ, право же, ваше превосходительство, ей-богу! Маменька во всякомъ письмѣ велить вамъ нарочно кланяться: она такъ васъ почитаетъ...

— И я ее очень почитаю; уваженіе у насъ взаимное. Но я долженъ замѣтить вамъ, любезнѣйшій, что у васъ одна нехорошая черта — лукавить,—черта, присущая хотя и всѣмъ малороссамъ...

— Такъ какъ-же мнѣ не поддержать, ваше превосходительство, своей національной черты?— съ легонькой уже улыбкой подхватилъ Гоголь.

— Ну, вотъ, вотъ! И зачѣмъ это вы постоянно величаете меня моимъ казеннымъ титуломъ? Для васъ я, какъ и для другихъ, просто Иванъ Семеновичъ. Никакой экстренности вамъ въ городъ, очевидно, не было. Вы просто труса спраздновали, что васъ вотъ притянуть къ отвѣту за вашу глупую сатиру на здѣшнихъ грековъ. Ну, и повинились бы благороднымъ манеромъ: «*Mea culpa!*»

Противъ правдолюбія и добродушія Ивана Семеновича нельзя было устоять, и Гоголь чисто-сердечно повинился:

— *Mea culpa!* Но ваше превосх... вы, Иванъ Семеновичъ, не повѣрите, какъ трудно выговорить эти два коротенькихъ словечка!

Произнесъ это Гоголь съ такой наивно-вино-

ватой миной, что и Орлай не устоялъ — улыбнулся.

— Охотно вѣрю вамъ, — сказалъ онъ: — маленькаго ребенка хоть убей, а не заставишь извиниться. Но вамъ-то все-таки уже 15 лѣтъ...

— Съ хвостикомъ-съ. Но согласитесь, Иванъ Семеновичъ, что наши нѣжинскіе греки — такой народецъ, что на нихъ, какъ говорится, «*difficile est satiram non scribēre*».

Плохой латинистъ думалъ щегольнуть передъ директоромъ — классикомъ позаимствованною у старшаго друга ученостью, но не совсѣмъ удачно.

— *Scribēre, scribēre!* — поправилъ его Орлай и даже ногою притопнулъ. — И какъ это вы, грамматистъ, до сихъ поръ не знаете, что глаголь этотъ — третьяго спряженія? А что до вашей якобы сатиры, то она, повѣрьте моему слову, ни по своему содержанію, ни по исполненію никуда-таки не годится.

— Но что же дѣлать, коли руки такъ и чешутся писать?

— Пишите, пожалуй, для практики въ языкѣ, но отнюдь не пасквили. «*De mortuis* (гласить старая пословица) *aut bene, aut nihil*», а по-моему, и «*de vivendis*» \*). Мало ли темъ высокихъ, достойныхъ? Но лучше всего до поры до времени вамъ ничего не писать, а заниматься дѣломъ, ибо въ ваши годы этакое писаніе пустячковъ отбиваетъ только отъ науки, приучаетъ не дорожить

\*) О мертвыхъ (говорятъ) либо доброе, либо ничего, а по-моему, и про живыхъ.



каждой минутой нашей короткой человѣческой жизни. Прилежаніе—шагъ къ гению, а лѣность—сто шаговъ къ глупости.

— Ахъ, нѣтъ, Иванъ Семеновичъ! Вы только-что разрѣшили мнѣ писать, а теперь берете уже назадъ свое разрѣшеніе.

— Богъ съ вами, пишите! Но сами вы, Николай Васильевичъ, общайтесь мнѣ зато—пока вы будете здѣсь, въ гимназіи, не писать уже подобныхъ недостойныхъ вещей. Общаетесь?

— Общаюсь,—отвѣчалъ съ глубокимъ вздохомъ молодой сатирикъ, и общаніе свое, дѣйствительно, сдержалъ: за крупныя вещи сатирическаго содержанія въ Нѣжинѣ уже не принимался.





## ГЛАВА VIII.

### На вакаціі!

**Д**орошо гулялось и дышалось весною подъ раскидистыми деревьями гимназическаго сада; но прогулки эти, какъ временный суррогатъ, только распаляли жажду къ настоящему деревенскому приволью. Гоголь просто не могъ дождаться, когда вышлютъ за нимъ лошадей изъ Васильевки, и, какъ мальчикъ обстоятельный, предусмотрѣлъ все, что нужно было, для скорѣйшаго и удобнѣйшаго переѣзда въ родныя палестины.

«Ежели вы будете присылать за нами», писалъ онъ изъ Нѣжина родителямъ 13 іюня 1824 года, «то, пожалуйста, пришлите нашу желтую коляску съ рѣшетками и шестеркою лошадей. Не забудьте — коляску съ зонтикомъ: въ случаѣ дождя, чтобъ намъ спокойно было ѣхать, не боясь быть

промоченными. Еще сдѣлайте милость, пришлите намъ на дорогу для разогнанія скуки (долго оставаться на постоянныхъ дворахъ) нѣсколько книгъ изъ Кибицець. Но вмѣсто повѣстей пришлите вы намъ книгу подъ заглавіемъ: «Собраніе образцовыхъ сочиненій», въ стихахъ, съ портретами авторовъ, въ шести томахъ, за что мы будемъ очень благодарны...»

И 18 іюня за нимъ и его двумя спутниками—Данилевскимъ и своднымъ братомъ послѣдняго, семиклассникомъ Барановымъ—дѣйствительно, прибыла съ надежнымъ дворовымъ челоуѣкомъ Ѳедоромъ, или попросту Ѳедькой, «желтая коляска», запряженная шестеркой; не были забыты и 6 томовъ «Собранія образцовыхъ сочиненій».

Все, кажется, было предусмотрѣно, но на запасть не напрясть: надзиратель Зѣльднеръ, узнавъ, что четвертое мѣсто въ коляскѣ свободно, объявилъ вдругъ, что, посовѣтовавшись съ супругой своей Марьей Николаевной, онъ рѣшился сопроводить трехъ путниковъ, дабы погостить въ деревнѣ сперва у отчима Данилевскаго и Баранова, а затѣмъ у Гоголей, за что дастъ имъ возможность пользоваться отъ него въ теченіе всего лѣта даровою практикой въ нѣмецкомъ языкѣ. Тѣ, вздыхая, покорились неизбежному.

Тутъ совершенно неожиданно судьба послала имъ избавителя. Подъ вечеръ наканунѣ отъѣзда, Гоголь былъ вызванъ въ пріемную, гдѣ засталъ тучнаго господина съ двойнымъ подбородкомъ и

открытымъ бронзово-краснымъ лицомъ. Тяжело отдуваясь и не вставая со стула, тотъ протянулъ входящему мясистую, потную руку.

— Что, не узнаете развѣ? Щербакъ, старый знакомый вашего папеньки.

— Простите: право же, не сейчасъ узналъ. Вы такъ... не знаю, какъ сказать...

— Отощаль? Ха-ха-ха! Да, живемъ мы, пирятинскіе помѣщики, тоже не на чужихъ хлѣбахъ. Ротъ болитъ, а брюхо ѣсть велитъ. И бричка, поди, не оттого ли развалилась? Я вѣдь къ вамъ съ просьбицей.

— По поводу брички?

— Да. Кузнецъ, изволите видѣть, берется справиться ея только къ той недѣлѣ. Ну, а пора страдающая: домой мнѣ до-зарѣзу. Такъ вотъ, душенька, не найдется ли у васъ въ ковчегѣ родительскомъ для меня, мѣстечко хоть до Пирятина? Много ли мнѣ, грѣшному, нужно при моей стройной комплекціи! Да что вы руками-то разводите?

— Тутъ не руками только—и ногами разведешь,—отвѣчалъ Гоголь и повѣдалъ о томъ, какъ имъ подвернулся четвертый спутникъ, надзиратель Зѣльднеръ.

— Зѣльднеръ?—переспросилъ Щербакъ.—Это вѣдь тотъ, у котораго ноги колесомъ-рококо? Я большой любитель рококо.

— И я тоже. Но у Егора Ивановича, къ несчастью, и натура рококо: по-суху, какъ по морю, въ пути съ нимъ аккуратно всякій разъ морская болѣзнь.

— Это ужь ренесансь. Ха-ха-ха! Ну, я-то на этотъ счетъ хоть для васъ безопасенъ. Такъ доложите-ка ему, милочка, что такъ, молъ, и такъ: мнѣ, близкому другу. дома, вы, къ великому вашему прискорбію, никоимъ образомъ не можете отказать; а пятерымъ въ коляскѣ никакъ не умѣститься.

Обрадованный Гоголь побѣжалъ тотчасъ предупредить надзирателя. Но тотъ и слышать не хотѣлъ: Марья Николаевна-де и пирожки на дорогу уже напекла...

— Мы примемъ ихъ съ признательностью,— сказалъ Гоголь и шаркнулъ ножкой.—Но нельзя же намъ, помилосердствуйте, сидѣть двое сутокъ слишкомъ, какъ сельди въ боченкѣ. А г-нъ Щербакъ—нашъ старій знакомый...

— Что мнѣ вашъ г-нъ Щербакъ! Онъ—второй кандидатъ, я—первый...

— Но и въ писаніи, Егоръ Ивановичъ, сказано: первые да будутъ послѣдними.

— Keine faulen Witze! Безъ гнилыхъ шутокъ. Genug davon! (Будеть!)—рѣшительно обрѣзалъ дальнѣйшія препирательства Егоръ Ивановичъ, и Гоголю для видимости по крайней мѣрѣ пришлось покориться.

— Пирожки-то хоть не забыть бы?—сказалъ онъ.—Не мѣшало бы, знаете, ихъ теперъ же, съ вечера, положить въ коляску.

— Ja, ja, lieber Freund, daß werden wir schon besorgen. (Это мы уже справимъ.)

— Ну, что, голубушка?—встрѣтилъ Щербакъ

вопросомъ Гоголя при возвращеніи его въ пріемную.

Тотъ дословно передалъ свой разговоръ съ надзирателемъ, но въ тонѣ его голоса, въ выраженіи его глазъ Щербакъ уловилъ нѣчто недосказанное.

— У васъ, батенька, вѣрно еще что-то въ запасѣ,—замѣтилъ онъ, лукаво подмигивая.—Сами вы хоть и серіозны, да глаза ваши смѣются.

— А это отъ предвкушенія пирожковъ милѣйшей Марьи Николаевны. У нея двѣ страсти: пирожки да шарады. Но пирожки ея куда вкуснѣе ея шарады, которыхъ никто не раскуситъ

На другое утро Щербакъ, привыкшій вставать съ восходомъ солнца, едва только протеръ глаза и поднялся съ постели, какъ подъ окнами его временной квартиры загромыхали колеса. Онъ выглянулъ на улицу: передъ крыльцомъ стояла запряженная шестеркой, нѣкогда ярко-желтаго, а теперь грязно-песочнаго цвѣта дорожная коляска, изъ которой ему весело кивали головы трехъ гимназистовъ.

— Раненько!—крикнулъ онъ имъ внизъ.—А герръ Зельднеръ гдѣ же?

— Почивать изволятъ,—былъ отвѣтъ.—Жаль будить было.

— Нѣтъ, безъ шутокъ, господа, что съ нимъ?

— Безъ шутокъ, еще мирно почиваетъ. Чтобы никого не тревожить, мы съ вечера улеглись въ музеѣ и велѣли Оедкѣ поднять насъ съ пѣтухами.

— Ахъ, разбойники! А хваленые пирожки мадамъ Зѣльднеръ?

— Пирожки-то здѣсь.

Изъ-подъ сидѣнья коляски была вытащена и торжественно поднята на воздухъ объемистая корзина, аккуратно упакованная въ толстую синюю бумагу и перевязанная толстою бечевкой.

— Сущіе разбойники!—расхохотался Щербакъ. Какъ бы вамъ только въ послѣдствіи горько не поплатиться.

— Осенью-то? О! расплатимся самой сладкой монетой,—отвѣчалъ Гоголь:—Марья Николаевна — большая любительница ананасовыхъ дынь; такъ я привезу ихъ ей изъ Васильевки самую сахарную!

Какъ узнали они въ послѣдствіи, Егоръ Ивановичъ Зѣльднеръ, велѣвшій разбудить себя въ 5 часовъ утра, не хотѣлъ сперва даже вѣрить, что юные спутники его могли сыграть съ нимъ столь неблаговидную шутку; убѣдившись же, что ихъ и слѣдъ простылъ, онъ разразился противъ главнаго озорника лаконическимъ восклицаніемъ:

— А, мерзкая мальчишка!

Тѣмъ временемъ желтая коляска среди облака пыли уносила нашихъ школяровъ все далѣе отъ Нѣжина. Хотя переѣзда оттуда до Васильевки было, какъ сказано, болѣе двухъ сутокъ, но пора стояла самая благодатная, лѣтняя, на небѣ ни тучки, да и на душѣ тоже. А Щербакъ оказался премилымъ собесѣдникомъ: очутившись въ компаніи подростковъ, онъ самъ словно помолодѣлъ на 20 лѣтъ и потѣшалъ ихъ вплоть до Пирятина

презабавными анекдотами изъ собственной своей юности. На станціяхъ, пока кормили лошадей, путешественники кормились также досыта: куда что лѣзло! Но толстякъ-помѣщикъ уписывалъ все, что ни попало, за обѣ щеки такъ смачно, что примѣромъ его нельзя было не заразиться. Первымъ дѣломъ, разумѣется, были уничтожены до крошки пирожки мадамъ Зѣльднеръ, которые, въ самомъ дѣлѣ, оказались преотмѣнными. Щербакъ съѣлъ ихъ ровно дюжину и отеръ себѣ уже ротъ; но тутъ въ корзинѣ оказался еще одинъ послѣдній пирожокъ, который былъ разыгранъ на «узелки»—и достался опять-таки Щербаку. Впрочемъ. тотъ насытился не надолго, потому что на слѣдующей же станціи потребовалъ себѣ поросенка подъ хрѣномъ. Покамѣстъ три гимназиста вмѣстѣ справлялись еще съ половиною поросенка, онъ одолѣлъ уже вторую половину, послѣ чего духомъ влилъ въ себя цѣлый жбанъ холоднаго кваса. Правда, что, немного погодя, онъ тихонько застоналъ.

— Что съ вами?—спросилъ его Гоголь.—Вамъ неможется?

— М-да, въ утробѣ что-то неладно: будто поросенокъ захрюкалъ.

— Немудрено: ему отъ пирожковъ тѣсно.

— Ну, много-ль я ихъ и съѣлъ-то? Тринадцать штукъ. Но чортова дюжина—вотъ въ чемъ бѣда-то. Заѣсть развѣ халвою? Прошу, панове!

Изъ дорожнаго сака появилась десятифунтовая коробка съ греческою сладью. Съ помощью



своихъ молодыхъ спутниковъ онъ вскорѣе также до половины опорожнилъ.

— Ну-съ, а теперь отдадимъ долгъ полковнику Храповицкому.

Толстякъ растянулся на станціонномъ дырявомъ, но широчайшемъ клеенчатомъ диванѣ. Двѣ минуты спустя, комната огласилась такимъ богатырскимъ храпомъ, что гулявшій подъ окошкомъ съ своимъ семействомъ индюкъ громко разбранился.

Гимназистамъ было не до сна, и они отправились «открывать Америку»: перелѣзли черезъ плетень въ фруктовый садъ, разведенный около своего домика станціоннымъ смотрителемъ, и оказали честь его черешнямъ. Затѣмъ подразнили индюка и подвернувшася имъ на заднемъ дворѣ бодливаго барана. Что бы еще такое предпринять? У Баранова нашлась въ карманѣ головная щеточка съ зеркальцемъ, и онъ сталъ наводить «зайчиковъ» на игравшихъ посреди пыльной дороги маленькихъ полунагихъ ребяташекъ. Но произведенный на нихъ эффектъ мало удовлетворилъ нашихъ школьниковъ. Изъ открытыхъ оконъ станціи по-прежнему доносилось равномерное и скрипучее, какъ пила дровосѣка, храпѣніе Щербака.

— Вотъ на кого навести бы! Проснется ли?

Всѣ трое вошли къ спящему. Тотъ раскинулся навзничъ на диванѣ необычайно живописно: ноги и руки врозь, голова совсѣмъ на бокъ, а по потному красному лицу и выпятившемуся изъ-подъ

высокаго галстука второму подбородку преспокойно разгуливало цѣлое общество мухъ, норовя залѣзть въ раздувающіяся ноздри, въ пыхтящія уста.

— Куда вы, глупыя!—замѣтилъ Гоголь:—лакомиться—то тамъ, право, нечѣмъ. Угостить васъ развѣ халвою?

Коробка съ халвою стояла еще на столѣ. Гоголь пальцемъ досталъ оттуда, сколько требовалось, и основательно вымазалъ жирный кадыкъ помѣщика. Медовый запахъ халвы тотчасъ привлекъ отлетѣвшихъ мухъ къ кадыку, который такъ и почернѣлъ отъ нихъ.

— Тотъ же рой пчелиный,—сказалъ Гоголь,—а ему и горя мало. Тутъ надо порадикальнѣе средство. Эй, Ѳедька!

Ѳедька, на завалинкѣ у крыльца попыхивавшій изъ своей «люльки», заглянулъ съ улицы въ окошко.

— Що треба паничу?

— Одолжи-ка своего тютюна.

Оторвавъ съ пирожной корзины лоскутокъ синей бумаги, Гоголь свернулъ его въ трубочку, насыпалъ туда изрядную щепотку Ѳедькина табаку и приставилъ трубочку къ носу спящаго. Средство, дѣйствительно, оказалось радикальнымъ. Въ слѣдующій же мигъ толстякъ, какъ шальной, сорвался съ дивана и съ фонтаномъ брызговъ расчихался. Минутъ пять бѣдняга не могъ прійти въ себя. Когда же онъ наконецъ, съ побагровѣвшимъ лицомъ, съ налитыми кровью глазами,

разглядѣлъ стоявшихъ передъ нимъ трехъ школьниковъ, которые всякій чихъ его встрѣчали дружнымъ смѣхомъ и пожеланіемъ «добраго здоровья»,—онъ неожиданно размахнулся и наградилъ стоявшаго какъ разъ противъ него и заливавшася пуще всѣхъ Баранова такую здоровою оплеухой, что тотъ свалился съ ногъ.

Смѣхъ кругомъ разомъ стихъ.

— Что вы, батенька, не очень ушиблись?—участливо осведомился Щербакъ, помогая упавшему приподняться.

Одна щека юноши была краснѣе мака, другая—бѣлѣе полотна. Глаза его метали искры, губы дрожали.

— У насъ съ вами, кажется, вышло маленькое недоразумѣніе,—тѣмъ-же ровнымъ и любезнымъ тономъ продолжалъ Щербакъ.—Вы, если не ошибаюсь, угостили меня «гусаромъ»?

— Не я, а вонъ кто...—глухо буркнулъ въ отвѣтъ Барановъ, указывая на Гоголя.

— Ну, такъ не взыщите, батенька: ошибся въ адресъ. Зачѣмъ подвернулись? А васъ, Николай Васильевичъ, покорнѣйше благодарю!

— Не за что-съ,—отвѣчалъ Гоголь, на всякій случай ретируясь за Данилевскаго.—Я сдѣлалъ это, увѣряю васъ, изъ одного человѣколюбія: чтобы васъ кондрашка не хватилъ.

— Покорнѣйше благодарю,—повторилъ толстякъ, проводя ладонью по своему липкому второму подбородку.—Фу ты! что за притча? Точно кто дегтемъ вымазалъ! Вонъ и муха пристала...

— Не дегтемъ, а халвою,—откровенно сознался Гоголь, видя, что этого добряка ему нечего уже опасаться.

— Халвою! Тоже изъ челоуѣколюбія?

— Нѣтъ, изъ мухолюбія.

И школьникъ изложилъ свои «мухолюбивые» мотивы съ такимъ благодушнымъ юморомъ, что совсѣмъ обезоружилъ Щербака.

Гимназистамъ было искренне жаль, когда, къ полдню другого дня, они добрались до Пирятина и пришлось разстаться съ поллюбившимся имъ взрослымъ спутникомъ, который на прощанье каждаго изъ нихъ облобызаль въ обѣ щеки.

Впереди оставалось имъ болѣе полпути. «Для разогнанія скуки», были извлечены на свѣтъ Божій высланныя изъ Васильевки «Образцовыя сочиненія». Но никому какъ-то не читалось. Въ проѣздныхъ городахъ — Лохвицѣ и Миргородѣ, — хотя и провинціально-сонная, но все-же городская жизнь развлекала чуткое вниманіе молодежи; а когда затѣмъ открывалось опять передъ глазами во всѣ стороны необозримое пространство зеленой степи или волнующейся по вѣтру золотистой пшеницы и солнечный воздухъ обдувалъ лицо чистымъ степнымъ ароматомъ, — глаза отъ слишкомъ яркаго свѣта невольно щурились и смыкались, голова въ сладкой истомѣ незамѣтно склонялась на плечо, и не то дремалось, не то грезилось о чемъ-то неопредѣленномъ, но хорошемъ...

На третій день на горизонтѣ вынырнула зуб-

чатая стѣна тополовой аллеи. Данилевскій радостно встрепенулся.

— Вотъ и наше Толстое!

Толстое было имѣніе его отчима, Василя Ивановича Черныша, отстоявшее отъ Васильевки Гоголей всего въ 6-ти верстахъ.

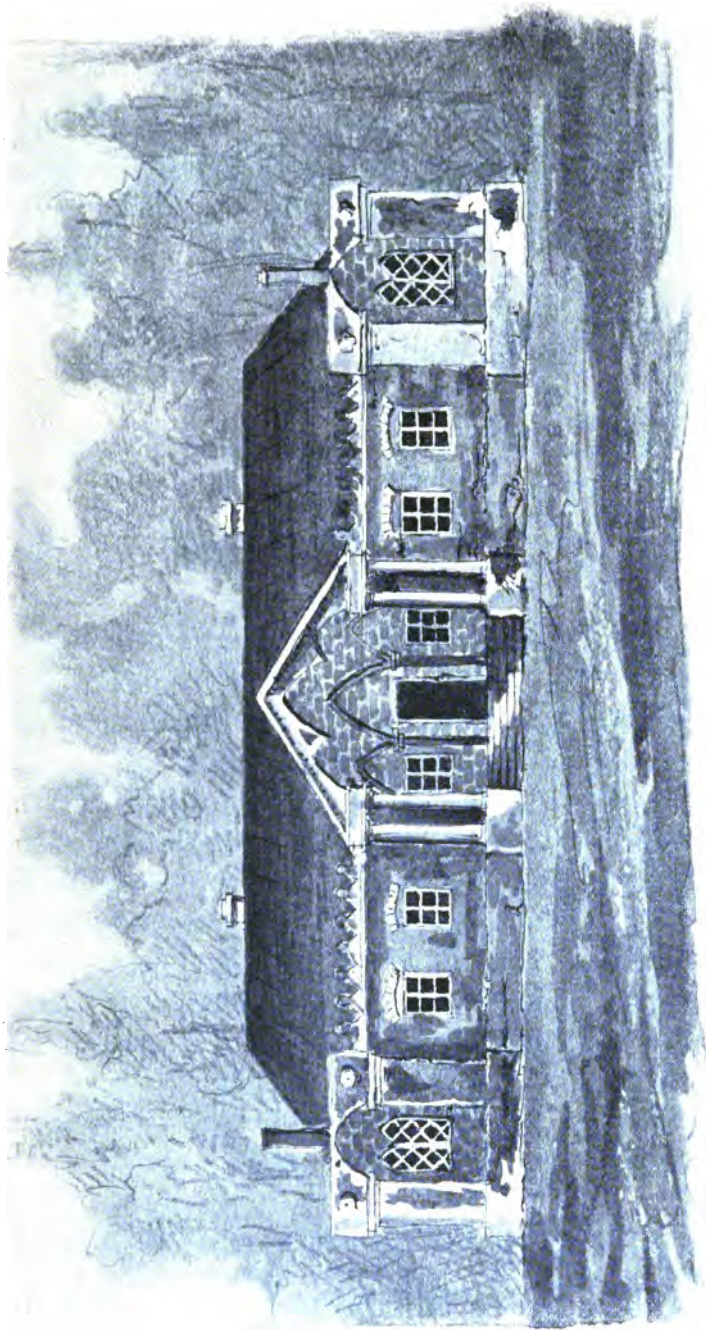
По мѣрѣ приближенія, изъ-за тополей замелькали бѣлыя мазанки съ соломенными крышами; а вотъ на дорогѣ, навстрѣчу молодымъ путникамъ, показались и два пѣшехода. Одинъ изъ нихъ снялъ шляпу, насадилъ ее на палку и, въ видѣ привѣта, замахалъ ею въ воздухѣ.

— Да это папенька: это его матросская шляпа! — вскричалъ Гоголь и, привставъ съ сидѣнья, самъ замахалъ въ отвѣтъ фуражкой.

— А съ нимъ и нашъ отчимъ! — подхватилъ Данилевскій. — Ну, друже Ничипоре, прибавь хоть немножко-то ходу.

Кнутъ свистнулъ, и вспаренные, изморенные долгою дорогой кони, словно узнавъ также вдали своего пана-кормильца, съ новыми силами понесли впередъ грузный экипажъ, вздымая за собою цѣлыя тучи дорожной пыли.





Старый господский домъ въ селѣ Васильевкѣ.  
Снимокъ съ собственноручнаго акварельнаго рисунка Н. В. Гоголя.





## ГЛАВА IX.

### Въ родномъ гнѣздѣ.

**В**стрѣча близкихъ людей послѣ долгой разлуки подобна водопаду: чѣмъ стремительнѣе паденіе воды, тѣмъ болѣе шума, пѣны и брызговъ; чѣмъ задушевнѣе встрѣча, тѣмъ болѣе ненужныхъ лобызаній, безпричиннаго смѣха, беспорядочныхъ вопросовъ и отвѣтовъ.

Уже съ добрую четверть часа родовая коляска Гоголей-Яновскихъ стояла среди пыльной дороги на палящемъ солнепекѣ, а ни оба Гоголя—отецъ съ сыномъ, ни Чернышъ съ двумя пасынками не могли досыта наслушаться, наговориться. Впрочемъ, ни одинъ не дослушивалъ толкомъ, потому что каждому надо было высыпать поскорѣе коробъ новостей, накопившихся у него самого съ послѣдней встрѣчи.

Неизвѣстно, долго ли бы они еще такъ пересыпали изъ пустого въ порожнее, еслибы ста-



рикъ-кучеръ Ничипоръ не напомнилъ барину, что «грѣшно-де томить бѣдныхъ коней: оводы ихъ совсѣмъ, поди, заѣдятъ».

— И то грѣшно, вѣдь, Ничипоре, твоя правда — спохватился тутъ Василій Аѳанасьевичъ и жестомъ пригласилъ Черныша сѣсть въ коляску.—Честъ и мѣсто, Василій Ивановичъ! Мы подвеземъ васъ до поворота. Никоша! садись-ка на козлы, а ты, Ѳедька, слѣзай внизъ, пусти панича.

— Да вы, Василій Аѳанасьевичъ, съ сыночкомъ завернули бы къ намъ на часокъ въ Толстое перекусить трошки?—предложилъ Чернышъ.

— Ни, голубчикъ, въ другой ужъ разъ. Моя Марья Ивановна не доспитъ, не доѣстъ, пока сама не накормитъ своего ненагляднаго первенца.

Пять минутъ спустя, высадивъ Черныша съ пасынками и ихъ поклажей у поворота, оба Гоголя мчались уже къ себѣ на Васильевку (какъ окрестилъ по себѣ свой родовой хуторъ самъ Василій Аѳанасьевичъ), или Яновщину (какъ продолжали по старой памяти именовать его мѣстные жители). Переведя духъ во время короткаго роздыха на дорогѣ и чуя уже близость родной конюшни, измученные кони дружно наддали, а Василій Аѳанасьевичъ, горѣвшій нетерпѣніемъ поскорѣе доставить женѣ сына, торопилъ еще возницу:

— Валяй, Ничипоре, во всю! Ужо отдохнуть, отстоятся.

Насадивъ свою лощеную матросскую шляпу

на самый затылокъ, онъ любовно оглядывалъ сбоку сидѣвшаго рядомъ съ нимъ гимназиста-сына, и счастливая улыбка настолько преобразила его худощавое и болѣзненное, но теперь загорѣлое и разгоряченное отъ жары лицо, что онъ казался моложе и свѣжѣе своихъ 44-хъ лѣтъ.

— Да, да, такъ-то, сынку, такъ-то!—говорилъ онъ и потрепалъ мальчика по спинѣ.—На подножный кормъ, а? Послѣ казенной рубленой соломы и простая травка-муравка, я чай, за сахаръ покажется?

— А желтыя сливы тѣмъ паче!—весело отозвался сынъ.

— Ну, до сливъ то еще далеконочко. Покуда придется тебѣ пробавляться черешнями, клубникой да огурцами съ медомъ.

— Мужикъ съ медомъ, говорятъ, и лапоть съѣлъ. Но каковъ вообще нынче урожай фруктовъ, папенька?

— О, Божья благодать! Сучья на деревьяхъ индо ломаются; подпорокъ не напасешься... Да чего ты тамъ не видалъ-то? Боишься, не убѣжала ли Васильевка?

Сынъ уже не слышалъ вопроса. Привставъ съ сидѣнья и держась за козлы, онъ совсѣмъ перегнулся изъ коляски, чтобы лучше разглядѣть манявшій впереди цвѣтушій степной оазисъ.

— Смотри, не упали,—предупредилъ отецъ и на всякій случай придержалъ его сзади за фалды.

— Не упаду.

— Какъ это все знакомо и мило: и густой,

раскидистый садъ, и дривѣтно выглядывающая изъ-за его верхушекъ бѣлая, съ зеленымъ куполомъ церковь, и мелькающія тамъ и сямъ межъ деревъ красныя кровли и бѣлыя трубы...

— Замѣчаешь, Никоша, новинку? — не безъ гордости указаль Василій Аѳанасьевичъ на окаймлявшую садъ новую ограду.

Но Никошѣ было не до новинки: съ мягкимъ гуломъ увязающихъ въ пыли колесъ, съ частымъ топотомъ 24-хъ окованныхъ копытъ, тяжеловѣсный дорожный экипажъ загнулъ въ обширный, утопающій въ зелени дворъ и, вспугнувъ съ деревъ и крышъ цѣлыя тучи воробьевъ и дроздовъ, тихо подкатилъ къ господскому дому.

Старая разжирѣвшая моська и молодой легавый песь первые привѣтствовали возвращающихся хозяевъ радостнымъ лаемъ.

— А, Сюська! Дорогой! здравствуйте, милые, здравствуйте!—говорилъ молодой паничъ, съ трудомъ отбиваясь отъ бурныхъ ласкъ двухъ четвероногихъ друзей дома, изъ которыхъ младшій, но рослый норовиль лизнуть его прямо въ губы.

А на крылечкѣ, съ распростертыми руками ждала его уже маменька \*), около которой, съ раскраснѣвшимися щечками, съ блестящими глазками, прыгали четыре дѣвчурки. Неужели это его се-

---

\*) Прилагаемый портретъ Марьи Ивановны Гоголь, какъ относящійся къ значительно позднѣйшему періоду ея жизни, даетъ только нѣкоторое понятіе о ея миловидности въ молодые годы. Портрета Василя Аѳанасьевича Гоголя, сколько намъ извѣстно, вовсе не сохранилось.



Марья Ивановна,  
ГОГОЛЬ

въ концѣ 1840-хъ годовъ.



стренки? Какъ вытянулись — то! Даже крошка Олечка.

— Ну, вотъ и дома, въ родномъ гнѣздѣ!—говорилъ Василій Аѳанасьевичъ, съ самодовольствомъ потирая руки при видѣ совершающейся передъ нимъ умильной сцены несчетныхъ объятій, поцѣлуевъ и восклицаній.—А вотъ, Никоша, и Семеновна посмотрѣтъ тебя приплелася.

Позади Марьи Ивановны въ самомъ дѣлѣ выжидала уже своей очереди, опираясь на когтыль, старушка-няня Гапа, титулуемая въ домѣ Семеновною, а посторонними Агаѳею Семеновною.

— Соколику мій, лебѣдику, сизій голубоньку! — лепетала она беззубыми устами, вся трясаясь не то отъ дряхлости, не то отъ душевнаго волненья, и ловя его руку.

— Ну, ну, всѣхъ птицъ перебрала, окромѣ вороны да ястреба,—отозвался Никоша и обтеръ о сюртукъ руку, на которую изъ нянинныхъ глазъ брызнула горячая капля.—Чего рюмишь, старушенція? Слава Богу, еще живъ, не умеръ. Да и у васъ, маменька, глаза на мокромъ мѣстѣ? Полноте, дорогая моя! Дайте-ка сюда платочекъ—сейчасъ обсушу.

Говоря такъ, самъ онъ однако былъ втайнѣ не мало растроганъ, и напускною шутливостью старался только замаскировать свою собственную чувствительность.

— Вотъ и очи просвѣтлѣли и ланиты алымъ макомъ расцвѣли! Матинько моя риднѣсенька! вѣдь

вы, право, еще помолодѣли. Вамъ сколько теперь будетъ?—20 или уже 21?

— Ну, да! — краснѣя, улыбнулась въ отвѣтъ молодая мать:—за 30 уже перевалило.

— Ого-го, какая старость! маэусайловъ вѣкъ. А помолодѣли вы по меньшей мѣрѣ на 10 лѣтъ— вотъ и будетъ ровно 21.

Красивыя черты Марьи Ивановны подернулись грустью и она тихо вздохнула.

— Не въ лѣтахъ, голубчикъ; цѣло, а въ пережитомъ. Коли утѣшаютъ кого, что онъ помолодѣлъ, то, значитъ, молодость уже позади. И я 17 лѣтъ какъ замужемъ, пятерыхъ васъ вырастила, четверыхъ схоронила...

Она снова поднесла къ глазамъ платокъ.

— Ну, ну, жиночка любая! будетъ тебѣ о покойникахъ вспоминать: Господь далъ, Господь и взялъ,—перебилъ горюющую мужъ. — Подлинная старость живетъ однимъ прошлымъ и не знаетъ надеждъ; а у насъ съ тобою, погляди-ка, помимо Никоши, цѣлый букетецъ свѣтлыхъ надеждъ, свѣжихъ бутоновъ...

— Или телятъ, обѣщающихъ сдѣлаться добрыми коровами,—подхватилъ сынъ и ущипнулъ свою старшую сестру, 12-тилѣтнюю Машеньку, въ пухлую щеку:

— «Ты пойдѣ, моя коровушка, домой...»

— Фу, Никоша, какъ тебѣ не стыдно называть такъ свою родную сестрицу! — укорила его мать.—Машенька съ осени уже обучается у г-жи

Арендтъ, въ Полтавѣ. играетъ очень недурно на фортепіано...

— Ну, стало-быть, музыкальный теленокъ; а что такое теленокъ, какъ не корова въ бутонѣ?

— Что вѣрно—то вѣрно!—со смѣхомъ подтвердилъ Василій Аѳанасьевичъ. — А знаешь ли, матинько: соловья баснями не кормятъ. Хлопчикъ твой съ дороги-то, я чай, зѣло проголодался.

— Ахти, и вправду вѣдь! Прости, золотой ты мой!—захлопоталась Марья Ивановна. — Обѣдъ-то, должно быть, уже поспѣлъ. Машенька! загляни-ка, родная, на кухню. А я тѣмъ часомъ проведу Никошу наверхъ, въ свѣтелку: надо ему немножко хоть передѣться, почиститься съ дороги...

— Благодарствуйте, маменька; и одинъ управлюсь!—словно обидѣлся 15-тилѣтній гимназистъ, что его третируютъ при сестрахъ. еще какъ маленькаго, и поднялся одинъ къ себѣ на вышку.

Изъ трехъ небольшихъ горенокъ свѣтелки онъ занималъ одну; двѣ другія, предназначенныя для двухъ дядей его, двоюродныхъ братьевъ Марьи Ивановны,—Петра и Павла Петровичей Косяровскихъ, по недѣлямъ гостившихъ въ Васильевкѣ, въ данное время пустовали.

Все у него тамъ было, какъ прежде: и маленькое, съ кисейными занавѣсками оконце, въ которое изъ сада такъ и тянулись къ нему деревья своими зелеными, душистыми вѣтвями; и придвинутый подъ самое окошко, обитый клеенкою столикъ съ чернильницей, въ которой чернила съ потонувшими въ нихъ мухами давнымъ-давно,



конечно пересохли; и табуретъ съ умывальной чашкой и полнымъ кувшиномъ воды, а на стѣнѣ тутъ же два расшитыхъ пестрымъ малороссійскимъ узоромъ полотенца: личное и ручное. Простой комодикъ, простая кровать; надъ комодомъ—подслѣповатое зеркальце; надъ кроватью—образокъ св. угодника Митрофана. Все—какъ прежде, такъ хорошо и такъ уютно! Тихо, покойно, точно въ кельѣ схимника: мечтай себѣ, сколько душѣ угодно,—никто не помѣшаетъ...

— Такъ вѣдь и есть! — проговорилъ вслухъ юный схимникъ, поворачиваясь къ появившемуся въ дверяхъ дядкѣ Симону. — Маменька, вѣрно, все-же прислала?

— Вѣстимо, маменька, кому же больше? — пробрюзжалъ въ отвѣтъ старикъ. — И не мало, сердечная, горюеть, что ты въ Нѣжинѣ столько денегъ транжиришь: шальныхъ-то денегъ въ домѣ не ахти сколько.

— Охъ, Семене, Семене! Самъ же, злодѣй, видно, донесъ на меня.

— Не злодѣй я, батечку, а рабъ вѣрный, и безъ лживаго доноса выложилъ все по чистой совѣсти: что капиталовъ своихъ беречь не умѣешь и себя забижаешь.

— О? чи такъ?

— А такъ, что дамъ я тебѣ примѣрно денегъ въ праздникъ на бонбошки, а ты, ничего еще самъ себѣ не купивши, какъ встрѣтишь по пути нищаго, норовишь тайкомъ отъ меня отдать ихъ сейчасъ прошалыгѣ.

— Почему же прощальгѣ? Коли человекѣ въ рублищѣ, такѣ, видно, ему не красно живется!

— Не красно, само собою; но лучше, значитѣ, не заслужилѣ

— Нѣтъ, ужѣ скорѣе я, по-христіански, подѣлюсь съ бѣднымѣ, чѣмѣ стану лакомиться, когда онѣ голодаеть

— Чтѣ говорить! Да надо-жѣ и о себѣ подумать, да и не обманывать меня, старика: когда другіе пансіонеры кушаютѣ свои лакомства и я тебя спрашиваю: «что же ты своихѣ не ѣшь?» ты въ отвѣтъ мнѣ, что «сѣлѣ уже», молѣ. Не хорошо, батечку, ой не хорошо!

— И все это ты такѣ и выложилѣ маменькѣ?

— Такѣ и выложилѣ, знакомѣ дѣло, чтобѣ маленько хотѣ тебя приструнила.

— Не хорошо, батечку, ой, не хорошо!

— Ну, да, передразнивай старика! Зато я маменькѣ прямо такѣ и говорю: «не давайте ему, молѣ, впередѣ денегѣ,—все равно пропадутѣ за даромѣ».

— Ай да дядька, нечего сказать! Ну, что, коли маменька тебя въ самомѣ дѣлѣ послушаетѣ?

— Послушаетѣ ли?—вдохнулѣ дядька.— Молодѣ былѣ — конемѣ былѣ, старѣ сталѣ — одѣрѣ сталѣ. Никто уже не слушаетѣ, никому не нуженѣ...

— Ну, мнѣ-то, старичина, еще нуженѣ, не го-рюй; давай-ка живѣй одѣваться.

Недолго погода, вся семья Гоголей сидѣла въ столовой за обѣденнымѣ столомѣ. Марья Иванов-

на накладывала своему дорогому первенцу всякаго кушанья: и борща, и молодыхъ цыплятъ, и варениковъ полную порцію по два раза, упрасивая, уговаривая:

— Кушай, родимый мой, кушай на здоровье! Вотъ возьми-ка еще сметанки. Такой въ Нѣжинѣ, объ закладъ бьюсь, ни за какія деньги не получишь.

— Сметаны-то такой, пожалуй, точно, не найти, — подтвердилъ Василій Аванасьевичъ. — Но кормить ихъ тамъ почтеннѣйшій Иванъ Семеновичъ и духовной, и тѣлесной пищей, кажись, досыта. Такъ вѣдь, Никоша?

— М-гмъ! — промычалъ утвердительно Никоша, уплетая свои любимые вареники за обѣ щеки.

— Ну, такъ этими ужасными экзаменами изморили, — продолжала соболѣзновать сына мягкосердая маменька.

— Не бойсь, онъ и самъ не дастъ себя изморить, — успокоивалъ ее мужъ. — Способностями молодчика Господь не обидѣлъ; но лѣнь раньше насъ родилась.

• — А въ слѣдующій классъ однако ты, Никоша, съ успѣхомъ перешель?

— М-гмъ!.. — подтвердилъ сынъ съ тѣмъ-же полнымъ ртомъ. — За послѣднюю половину года въ среднемъ выводѣ изъ наукъ у меня четверка, изъ поведенія тоже четверка...

— А изъ языковъ?

— Изъ языковъ троица...

— Вотъ видишь ли, Василій Аванасьевичъ! —

обратилась Марья Ивановна съ сіяющими глазами къ мужу.—Онъ, навѣрное, пойдетъ еще далеко.

— Зачѣмъ идти, коли на лошадахъ повезутъ!— съ добродушною ироніей замѣтилъ Василій Аванасьевичъ.—Всю жизнь свою будетъ кататься на тройкахъ да на четверкахъ.

— Смѣйся, смѣйся! А вотъ увидишь, что онъ, какъ нашъ Дмитрій Прокофьевичъ, станетъ еще министромъ.

— Что такъ мало? Не фельдмаршаломъ ли?

— И будетъ, будетъ, помани мое слово. Не помнишь развѣ, что онъ трехъ уже лѣтъ отъ-роду самъ, безъ всякой помощи, по рисованнымъ игрушечнымъ буквамъ читать научился и мѣломъ всѣ полы въ домѣ исписывалъ...

— Чему особенно рада была Семеновна, которой приходилось послѣ него всякій разъ мыть полы. Но было тогда нашему искуснику не три года, а безъ малаго пять.

— Три, три! Ужъ кому лучше-то знать, какъ не родной матери? Въ пять же лѣтъ онъ и стихи сочинялъ.

— У васъ, маменька, фантазія очень ужъ пылкая,— вмѣшался теперь въ споръ родителей сынъ, обтирая ротъ салфеткой.—Фу! какъ наѣлся...

— Да ты, миленькій, въ самомъ дѣлѣ сытъ?

— Вотъ по этихъ поръ,—указалъ онъ на горло.—Благодарствуйте. А что до стиховъ, то они, признаться, и доселѣ мнѣ еще довольно туго даются.

— Ну, ну, не скромничай!— не унималась чад-

любивая мать. — Не было тебѣ вѣдь еще и шести-то лѣтъ, какъ сосѣдъ нашъ, извѣстный писатель Капнистъ, засталъ тебя разъ въ глубокой думѣ съ перомъ въ рукѣ.

«— Ты что это, карапузъ? — говоритъ: — не сочинишь ли тоже?»

«— Сочиняю.

«— Что такое? Не стихи ли?»

«— Стихи.

«— Вотъ какъ! Покажи-къ сюда.

«— Не покажу! я и маменькѣ не показываю.

«— Что-жъ, ей мы, пожалуй, и не покажемъ.

Но такому-же стихотворцу ты долженъ показать.

«Уговорилъ, увелъ тебя въ другую комнату, а какъ вышелъ потомъ опять оттуда, такъ въ глазахъ у него даже слезы стояли. Гладить тебя этакъ по головкѣ и говорить мнѣ:

«— Изъ малыша вашего, Марья Ивановна, выйдетъ большо-о-ой талантъ! Дай ему только судьба въ руководители учителя-христіанина».

— Да! — заключила глубоко-вѣрующая Марья Ивановна съ сердечнымъ вздохомъ свой рассказъ, и благочестиво осѣнилась крестомъ на кіотъ въ углу. — Первымъ дѣломъ все-же быть добрымъ христіаниномъ и гражданиномъ. Уповая на Бога, всего достигнешь.

— Богъ-то Богъ, но и самъ не будь плохъ, — замѣтилъ мужъ.

— Нѣтъ, Василій Аѳанасьевичъ, — нехорошая это у тебя поговорка. Каковъ ни будь человекъ,

а захочетъ Господь,—и поможетъ. Припомни-ка, какъ соорудилась наша здѣшняя церковь.

— Какъ?

— Ужли забылъ? Все тѣмъ-же высшимъ прозволениемъ. Сколько неудобствъ, бывало, терпѣли наши люди оттого, что должны были молиться въ отдаленномъ чужомъ приходѣ и во всякую погоду переѣзжать рѣку Голтву. Стала я тогда просить тебя выстроить у насъ въ Васильевкѣ свою церковь.

«— Помилуй, Машенька!—удивился ты моей просьбѣ:—откуда-жъ мнѣ средствъ на то взять? И пятисотъ рублей на хозяйскія потребности не набрать, а тутъ, поди-ка-съ, цѣлую церковь сооружай!

«—Господь захочетъ,—говорю,—найдутся средства.

«И что же вѣдь? Все устроилось какъ по писанному. Сперва пріѣхала моя маменька (царство ей небесное!), стала также тебя уговаривать. На другой день завернулъ изъ Кибинецъ архитекторъ — итальянецъ и, по просьбѣ моей, охотно сдѣлалъ планъ церкви на двѣсти душъ. А тутъ, какъ на-заказъ, явился и каменщикъ: не найдется-ли-де ему у насъ работы? Показали мы ему планъ архитектурскій, спросили, что возьметъ за то, чтобы надѣлать кирпича съ нашими рабочими. И сговорились на пяти тысячахъ. Приступилъ онъ къ работѣ, бралъ деньги по частямъ...»

— Но потомъ сталъ плакаться, что продеше-

вилъ, и просилъ надбавки,—вставилъ Василій Аѳанасьевичъ.

— Ну, и прибавили мы ему еще тысячу. Зато не далѣе, какъ черезъ два года, съ Божьею помощью, церковь была уже сооружена вчернѣ. Съѣздили мы съ тобой въ Ромны, на Ильинскую ярмарку, перемѣнили старое серебро на церковныя вещи. А еще черезъ годъ въ новомъ храмѣ началось и служеніе! Оставалось лишь плащаницу изготовить. И ту изготовили. Господь, Василій Аѳанасьевичъ, говорю тебѣ, никогда не оставляетъ уповающихъ.

— Убѣдила, матинько, лучше стряпчаго. Будемъ же уповать, что изъ сынка нашего выйдетъ если не министръ, то хоть средней руки порядочный человѣкъ. А то, погляди-ка, похожъ ли онъ теперь на министра: подкладка въ рукавѣ изодрана, локоть продранъ...

— Все, все исправимъ, починимъ, не безпокойся, горячо вступилась Марья Ивановна за неряху-сына.—Притомъ же геніальные люди вообще, говорятъ, неряшливы.

— Ну, нѣтъ, матушка, извини. Коли иные и неряшливы, то изъ этого еще отнюдь не слѣдуетъ, чтобы всякій неряха былъ сейчасъ и геніальнымъ человѣкомъ. Опрятность — щегольство бѣдныхъ людей, а мы, сама знаешь, какіе Крезы Геніальными дѣтьми хоть прудъ пруди, а геніальныхъ людей въ цѣломъ свѣтѣ одинъ, два—и обчелся. А отчего? Оттого же, я полагаю, отчего всякій поросянокъ премилъ, доколѣ не вырастетъ въ толстую

хавронью, которую уже никто въ рыло не поцѣлуетъ. Однако ты, сынку, я вижу, зѣваешь. Ходи-ка къ себѣ наверхъ и лягай спать.

— Я, папенька, вовсе не такъ уже усталъ съ дороги...

— Усталъ, усталъ! — перебила Марья Ивановна. — Мы съ папенькой лучше тебя знаемъ.

И мальчику волей-неволей пришлось уступить настояніямъ родителей и подняться на свою вышку. Впрочемъ, у него тотчасъ нашлись туда два компаньона: Сюська и Дорогой. Моська, пыхтя, вскочила на придвинутый къ кровати стулъ, чтобы перебраться оттуда на самую кровать; а менѣе избалованный легавый песъ растянулся тутъ-же на полу, на старенькомъ коврикѣ. Не прошло двухъ минутъ времени, какъ комната огласилась двойнымъ собачьимъ храпомъ, а еще спустя минуту къ этому дуэту присоединилась бодѣе деликатная носовая флейта молодого панича.







## ГЛАВА X.

### Васильевская Аркадія.

**С**олнце спустилось уже довольно низко, когда Гоголь протеръ опять глаза. Двухъ четвероногихъ товарищей при немъ уже не было, но полурастворенная дверь показывала куда они дѣвались. Освѣживъ себѣ лицо водою и наскоро пройдясь гребешкомъ сквозь всклокоченную гриву, Гоголь на ходу накиннулъ легкую домашнюю блузу, когда замѣтилъ на столѣ передъ окошкомъ полную до краевъ тарелку крупнѣйшей спѣлой клубники.

«Маменька, конечно!» сообразилъ онъ и отправилъ одну ягодку въ ротъ, а стебелекъ выбросилъ въ открытое окошко. «Однако, какая сладкая попалась!»

Но и вторая ягодка, и третья, и десятая оказались. видно, не менѣе сладки, потому что въ самое короткое время тарелка совсѣмъ опустѣла.

Когда Гоголь затѣмъ сталъ спускаться по скрипучимъ ступенькамъ деревянной лѣсенки въ ниж-

нее жильѣ, навстрѣчу ему съ крыльца донеслось щebetанье цѣлаго хора звонкихъ женскихъ голосовъ, сквозь которые раздавался мужской тенорокъ.

«Ну, такъ, офеня-ходебщикъ!»

Онъ не ошибся. На крыльцѣ представилась давно знакомая картина: весь наличный женскій персоналъ—какъ изъ барскихъ покоевъ, такъ и изъ дѣвичьей и кухни, отъ мала до велика—столпился вокругъ коробейника, выгрузившаго изъ своихъ объемистыхъ коробовъ на полъ самые разнообразные «галантереи» и медовымъ голоскомъ выхваливавшаго доброту и красоту всякой штуки.

Какъ было тутъ устоять? И менѣ всѣхъ устояла сама хозяйка: на полу около нея громоздилась уже цѣлая горка дешевенькихъ матерій, разныхъ полезныхъ принадлежностей женскаго рукодѣлья и безполезныхъ украшеній и бездѣлушекъ.

— И куда ты это, матинько, такую уйму забираешь?—корила ее глава дѣвичьей и дѣтской, няня Гапа.—Кажись, мать семейства, а нѣ-ка, поди, ровно малолѣтняя: всякую-то дрянъ даешь навязать себѣ этому идолу.

— Да надо-жъ, Семеновна, всѣхъ чѣмъ ни есть надѣлать... виновато оправдывалась молодая барыня передъ скопидомкой-старушкой.

— Надѣляй, сударыня, надѣляй щедрой рукою,—подбивалъ ее торговецъ:—Господь воздастъ тебѣ сторицей.

— И то, маменька, право, куда намъ столько разныхъ разностей? — подала теперъ голосъ 12-лѣт-

ня Машенька, болѣе практичная, чѣмъ мать. — Вѣдь на все это сколько опять у васъ рублей уйдетъ!

— Въ долгъ повѣрю, барышня милая, даромъ бери, чего душенька просить, не жалѣй меня!— не унимался офеня. — А вотъ и молодой паничъ! Съ счастливымъ пріѣздомъ! Не купишь ли тоже чего, сударикъ?

— А! всталъ, Никоша?—радостно обернулась Марья Ивановна къ сыну. — Отдохнулъ хоть немножечко?

— Эге, даже немножечко.

— А клубники покушалъ?

— Покушалъ, благодарствуйте. Совсѣмъ спѣлая и пресладкая. Вѣрно, сами набрали?

— Да какъ же иначе, голубчикъ? Съ грядокъ ты, Боже упаси, сырой бы еще объѣлся. Вотъ я взяла тутъ тоже для тебя, посмотри-ка, цвѣтныхъ карандашей, тетрадку для рисованья...

— Ай, мамо, мамо! А Симонъ еще коритъ меня, что зря деньги транжирю. Отъ кого я этому научился, какъ не отъ милой моей мамы?

— Шалунъ! — улыбнулась Марья Ивановна. — Что тебѣ, Ганна?

— Охъ, лишенько тяжке, пани!—заявила Ганна, старшая скотница, протискиваясь къ барынѣ: — лучшая телка наша Мелашка оступилася и копыто себѣ свернула.

— Бѣдненькая! И, вѣрно, очень мучится?

— Крйй, Мати Божа! Какъ не мучиться: ступить не можетъ, мычить себѣ, знай, таково жалостно...

Сердобольная и чувствительная Марья Ивановна обѣими ладонями зажала себѣ уши.

— Бога ради, Ганнуся, молчи, не рассказывай: слышать больно!

— Но какъ же быть-то намъ съ нею, пани: помазать ли чѣмъ копыто, позвать ли костоправа ..

— Дѣлай, какъ знаешь, милая. Кому же знать о томъ, какъ не тебѣ?

— Но все бы лучше, пани, кабы ты напередъ сама взглянула.

— Нѣтъ, нѣтъ, родная, пожалуйста, уволь! Не выношу я чужихъ мученій! Да и время ли теперь? Сама видишь. Вотъ тебѣ новый платокъ, и ступай себѣ съ Богомъ, ступай.

Присутствовавшій при такомъ хозяйственномъ распоряженіи матери сынъ только тихо вздохнулъ и пожалъ плечомъ

— А гдѣ, маменька, панъ-батько?

— Папенька? Гдѣ ему быть, садоводу, какъ не въ саду у себя? Съ утра до вечера въ землѣ копается.

— Такъ я до него теперички утечу.

Перешагнувъ черезъ разложенные на полу товары, онъ сошелъ съ крыльца на дворъ, а оттуда направился прямо въ садъ, гдѣ свернулъ въ укромную боковую аллею. Художественный вкусъ, унаслѣдованный отъ обоихъ родителей, началъ уже проявляться въ будущемъ художникѣ слова. Впивая полною грудью чистый деревенскій воздухъ, пропитанный ароматомъ свѣжескошенной травы, Гоголь остановился на ходу и залюбовался.

\*

Косые лучи вечерняго солнца золотыми стрѣлами врывались межъ стволами деревъ въ тѣнистую аллею, озаряя яркими бликами и дорогу, и окружающую листву, и свѣтившееся межъ зелени зеркало пруда.

Наглядѣвшись, онъ побрелъ далѣе, обогнулъ прудъ и вышелъ къ небольшому холмику съ бесѣдкой.

«Бесѣдка мечтаній!» прошепталъ онъ про себя. «А вотъ и гротъ дріадъ»...

Василій Аѳанасьевичъ, романтикъ старой школы, всякому излюбленному мѣсту въ своихъ владѣніяхъ присвоилъ какое-нибудь поэтическое названіе. Сынъ, питавшій къ отцу глубокое почтеніе, можно-сказать, благоговѣніе, не находилъ ничего страннаго въ этихъ вычурныхъ, освященныхъ уже временемъ названіяхъ; а теперь, при видѣ грота дріадъ, лицо его приняло даже меланхолическое выраженіе: при самомъ входѣ въ темный гротъ, укрытый подъ густою сѣнью липъ и акацій, лежалъ большой дикій камень, на которомъ онъ, Никоша, игралъ когда-то еще трехлѣтнимъ мальчишкой.

Въ томъ-же раздумьи онъ продолжалъ путь ко второму, большому пруду, обсаженному съ обѣихъ сторонъ любимыми деревьями Василя Аѳанасьевича: дубами да кленами. Папенька вѣдь вмѣстѣ съ нимъ, Никошей, насадилъ ихъ. Давно ли кажется? А какъ съ тѣхъ поръ разрослись-то!

А вонъ и самъ папенька: стоитъ неподвижно, опершись на заступъ, среди лужайки, и въ глубокой думѣ уставился въ землю.

Сынъ подошелъ къ отцу.

— Вы, папенька, надъ чѣмъ опять голову ломаете?

— А! это ты, сынку? — очнувшись, промолвилъ Василій Аѳанасьевичъ. Да вотъ поперекъ лужайки тутъ, видишь, свѣжая тропиночка протоптана? Явное указаніе на живую потребность. Вотъ я и раскидываю теперь умомъ, какъ бы такъ мнѣ проложить новую тропу, дабы ею пользовались старъ и малъ безъ погравы, а съ тѣмъ вмѣстѣ не нарушалась и общая гармонія прежней планировки. Пообсудимъ-ка купно: умъ хорошо, а два лучше.

И стали отецъ съ сыномъ обсуждать «купно», пока не остановили своего выбора на излучистой линіи, наиболѣе «гармонизировавшей» съ существующими дорожками.

— Оце добре, — сказалъ Василій Аѳанасьевичъ съ повеселѣвшимъ лицомъ. — Завтра же спозаранку, благословясь, приступимъ къ дѣлу. Нѣту, дружокъ, ничего здоровѣе для всякаго, даже образованнаго человѣка, какъ этакая работа мышцевъ на вольномъ воздухѣ. Жиль-быль разъ богачъ-вельможа; всего-то у него была полная чаша, былъ и мастеръ-поварь, да никакъ не умѣлъ ему по вкусу потрафить.

«— Шутъ тебя знаетъ! — говоритъ ему баринъ: — какъ ты, братику, готовишь нынче: не то горько, не то сладко, не то кисло, словно разучился приправу подбирать.

«— Подъ мышку близко, да не укусишь, — въ отвѣтъ ему поварь: — нѣту у насъ съ тобой, добродію, главныхъ приправъ.

«— Какихъ такихъ?

«— А голода да жажды, работы до пота».

— Знаете, папенька,—замѣтилъ Никоша,—мнѣ думается, что, работая этакъ подъ открытымъ небомъ, здоровѣешь не только тѣломъ, но и духомъ.

— Къ этому, милый, я и рѣчь веду. Прочелъ я какъ-то въ одномъ журналѣ переводную статейку (съ нѣмецкаго, кажется); три раза перечелъ, дословно почти въ памяти запечатлѣлъ. «Господь создалъ человѣка изъ земли, а не изъ небесъ (говорится тамъ), дабы замыслы его не захватывали всего мірозданія; не изъ воздуха, дабы громомъ и молніею не разорвало груди его; не изъ огня, дабы онъ не собиралъ горячихъ угольевъ надъ главою ближняго; не изъ воды, дабы чудища и гады подводные не распложились въ нѣдрахъ его сердца. Создалъ онъ человѣка изъ земли, дабы человѣкъ благодетельствовалъ, какъ земля, изливающая свои живительныя жилы явно и тайно; дабы онъ былъ благодаренъ, какъ земля, воздающая за каждое зернышко сторицей; дабы онъ былъ незлобивъ, какъ земля, оплачивающая неизсякаемымъ ключемъ благодати и тому, кто глубоко грудь ея пронзаетъ. Создавая человѣка, Господь для очей его взялъ клочекъ неба съ его ясною лазурью, для ушей его—струю воздуха съ его звукомъ, для устъ его—лучъ солнца, а въ сердце ему влилъ капельку изъ хляби морской, и оттого-то въ сердцѣ человѣческомъ вѣчный приливъ и отливъ, оттого-то дивная капелька возвращается свѣтлой слезою къ небесамъ очей!»

Василій Аѳанасьевичъ вдругъ замолкъ и насто-  
рожился. Съ одного берега большого пруда донес-  
лось звучное шелканье соловья, а съ другого въ  
отвѣтъ посыпались стеклянные перлы трелей. Отецъ  
съ восторженною улыбкой взглянулъ на сына.

— Въ Нѣжинѣ у васъ такихъ, небось, нѣтъ?—  
спросилъ онъ шепотомъ.— Второй пожаловалъ къ  
намъ только со вчерашняго вечера.

— А я къ пану добродію...—раздался въ это са-  
мое время въ двухъ шагахъ отъ нихъ развязно-  
почтительный голосъ, и они увидѣли около себя  
Левка, васильевскаго приказчика, незамѣтно, точно  
изъ земли выросшаго передъ ними.

Василій Аѳанасьевичъ внушительно приподнялъ  
палецъ:

— Т-съ! Шо тамъ такѣ? Не видишь, что ли,  
что мы съ паничемъ соловьевъ слушаемъ?

— Вижу, пане,—еще мягче, виновато отвѣчалъ  
Левко.— Но покупателю-москалю къ спѣху: наро-  
чито съ ярмонки изъ Яресокъ проѣздомъ къ намъ  
завернулъ и до утра еще хочетъ поспѣть въ Пол-  
таву. Не продашь ли, пане, съ поля гречиху? Пер-  
вый покупатель дороже денегъ.

— Зачѣмъ не продать. Но мнѣ теперь, самъ  
посуди, до гречихи ли! Иди къ пани: пускай за  
меня порѣшитъ дѣло.

— Пани тоже не до того-съ: съ офеней бала-  
каетъ. А купецъ-то обстоятельный: весь хлѣбъ  
оглядѣлъ въ полѣ и цѣну даетъ звычайную.

— Очень радъ. Такъ ты, Левко, и сговорись съ  
нимъ; тебѣ и книги въ руки. Ужо мнѣ доложишь.



— Слушаемъ-сь, — сказалъ приказчикъ и съ поклономъ отретировался.

— Простите, папенька, но вы ужасно довърчивы, — позволилъ себѣ замѣтить Никоша. — Уходя, Левко такъ хитро про себя улыбнулся...

— Лисій хвостъ да волчій ротъ вѣрно, — согласился Василій Аѳанасьевичъ. — Но за то и хозяйскіе интересы блюдетъ, не дастъ покупателю себя оплести. А при мнѣ они подѣлились бы въ барышахъ: мнѣ бы убыточнѣй. Изъ двухъ золъ, дружокъ, надо выбирать меньшее и утѣшать себя инымъ. Мало ли прекраснаго на Божьемъ свѣтѣ!.. Чу! слышишь, дуэтъ-то? какія колѣнца шельмецы выводятъ!

Два соловья, въ самомъ дѣлѣ, продолжали перекликаться удивительно звонко и искусно. Но, на бѣду, отъ большого пруда долетѣло громкое, ни мало уже не мелодическое шлепанье какъ-бы деревяннымъ валькомъ по мокрому бѣлью, и оба пѣвца разомъ умолкли.

— А, бисовы прачки! — вознегодовалъ Василій Аѳанасьевичъ. — Сколько разъ повторять имъ, чтобы не смѣли полоскать тамъ бѣлья и пугать моихъ пѣсенниковъ. Придется опять разнести ихъ.

Но, спустившись съ сыномъ къ тому мѣсту пруда, откуда доносилось шлепанье, Василій Аѳанасьевичъ успѣлъ настолько уже остыть, что «разнесъ» ослушницъ отечески-миролюбиво, и тѣ, ни мало не смутясь, стали просить пана — дозволить дополоскать бѣлье, благо соловьи и такъ уже перестали пѣть.

— Ну, кончайте на сей разъ, Богъ вамъ судья!—  
смиловивился стоворчивый баринъ. — Но напредки  
чтобы у меня этого уже не было!

— Не будетъ, пане, дали букъ, нѣтъ.

— Оце добре. Кстати же вотъ, какъ пойдете  
до дому, отнесите туда и мой заступъ. А намъ,  
сынку, не вредно, я полагаю, до ужина еще ноги  
промять хоть бы до «Долины спокойствія»,  
дабы успокоиться духомъ послѣ сей двойной пе-  
редряги съ Левкомъ и бабѣмъ?





## ГЛАВА XI.

### Семейная хроника.

— А славно вѣдь у насъ тутъ, на лонѣ природы?—говорилъ отецъ сыну, когда они черезъ ороженную плетнемъ широкую поляну добрались до сосѣдняго лѣска, у другихъ попросту называвшагося «Яворовщиной» отъ росшаго тамъ въ большемъ числѣ явора (иначе платанъ или чинаръ), а Василиемъ Аѳанасьевичемъ переименованнаго въ «Долину спокойствія».

— Дивно! никуда бы носу не показалъ,—подтвердилъ сынъ.—И тѣмъ досаднѣй вѣдь, что не нынче — завтра придется опять въ Ярески, на поклонъ къ старику Трощинскому.

— Безъ этого, дружокъ, никакъ невозможно: надо уважить достопочтеннаго старца и нашего семейнаго рачителя. Но до времени-то, впрочемъ, Дмитрій Прокофьевичъ еще у себя въ Кибинцахъ, на зимнихъ квартирахъ.

— Что же онъ, папенька, такъ запоздалъ перебраться въ свою лѣтнюю резиденцію?

— А къ Ольгину дню, 11-го іюля, ожидаетъ, вишь, къ себѣ дорогого, именитаго гостя—князя Репнина, Николая Григорьевича: тому никакъ нельзя быть ко дню рожденія и именинъ его высокопревосходительства — 26-го октября; такъ вотъ Дмитрій Прокофьевичъ и выбралъ день именинъ своей красавицы-племянницы Ольги Дмитриевны; впередъ зазвалъ уже полный домъ гостей. А въ миргородскихъ Аѳинахъ куда авантажнѣй задать такой фестивалъ, гдѣ и свой домашній театръ...

— И вы, какъ всегда, будете руководить спектаклемъ?

— Да, безъ меня имъ не обойтись; но, экстреннаго случая ради, спектакль будетъ не съ крѣпостными актерами, а любительскій — изъ нашей же братьи, дворянъ. Ставлю я своего «Простака», и самъ выступаю въ заглавной роли.

— Кому-же ее исполнять, какъ не вамъ? Ахъ, папенька! у меня къ вамъ большая просьба...

— Ну, что такое?

— Предоставьте мнѣ одну маленькую рольку, хоть бы дьячка!

— Экъ куда хватилъ!

— Да я въ Нѣжинѣ игралъ уже въ трехъ пьесахъ, и съ успѣхомъ; а вашего «Простака» знаю почти какъ «Отче нашъ». Умоляю васъ, милый папенька...

— Во-первыхъ, гулубчикъ, роль Хомя Григоревича вовсе не такая маленькая; во-вторыхъ, она уже обѣщана...

— Кому?

— Павлу Степановичу, съ которымъ мы ее даже прорепетировали..

— О! я его упрошу уступить ее мнѣ. Только вы, папенька, пожалуйста, не противьтесь; онъ хоть упрямъ, какъ всякій хохоль. но добръ...

— Побачимо, побачимо, якъ попадется нашому теляти вовка піймати. Странное, право, дѣло: отъ кого у тебя, Никоша, эта страсть къ сценѣ?

— Очень странно!—разсмѣялся Никоша:—отецъ терпѣть не можетъ театра, а сынъ имъ только бредитъ! Можетъ статься, впрочемъ, въ нашей семьѣ и раньше уже были записные актеры?

— Нѣтъ, Богъ миловалъ. Родъ Гоголей-Яновскихъ старый дворянскій, \*) такъ-же, какъ и родъ моей покойной маменьки, а твоей бабушки, Татьяны Семеновны: по отцу своему она происходила прямехонько отъ Якова Лизогуба, генераль-фельдцейхмейстера Великаго Петра, а по матери—отъ знатнаго шляхтича, кievскаго полковника Танскаго, который выселился изъ Польши также еще при Петрѣ и со славою воевалъ въ царскомъ войскѣ противъ шведовъ.

— А правду, папенька, говорятъ, что дѣдушка

---

\*) Впослѣдствіи одинъ изъ біографовъ Гоголя (П. Кулишъ) разыскалъ въ лѣтописяхъ указаніе, что одинъ изъ прямыхъ, будто-бы, предковъ Гоголей Яновскихъ, казацкій гетманъ Остапъ Гоголь, отличился въ 1655 г. въ битвѣ при Дрижиполѣ, а затѣмъ былъ и полномочнымъ посломъ польскимъ въ Турціи.

А Анасій Демьяновичъ бабушку Татьяну Семеновну изъ родительскаго дома выкралъ?

— «Выкралъ»! Развѣ можно, Никоша, о родномъ дѣдѣ своемъ такъ выражаться?

— А какъ же сказать-то?

— Похитиль.

— Но для чего ему было похищать ее? Родители бабушки стало-быть были противъ ихъ брака?

— Стало-быть. Дѣдушка твой хоть и былъ чловѣкъ съ образованіемъ, потому что окончилъ Кіевскую духовную академію и потомъ учительствовалъ, но, по мнѣнію Семена Лизогуба, онъ все-же, какъ бурсакъ, былъ не чета его, бунчуковаго товарища, дочери.

— Такъ гдѣ же тѣ сошлись такъ близко безъ вѣдома родителей? Дѣдушка, вѣрно, былъ вхожъ въ домъ Лизогубовъ?

— Да; онъ обучалъ дѣтей у ближайшихъ ихъ сосѣдей и такъ успѣшно, особливо языкамъ латинскому и нѣмецкому, что отецъ Татьяны Семеновны, совсѣмъ молоденькой еще тогда барышни, пригласилъ его давать и ей уроки.

— Изъ латыни?

— А ужъ о семъ исторія умалчиваетъ; вѣрнѣе же, изъ нѣмецкаго. Извѣстно только, что уроки прервались внезапно: въ одинъ прекрасный день учитель переслалъ ученицѣ въ скорлупѣ грецкаго орѣха записочку, въ коей предлагалъ ей руку и сердце.

— Каковъ дѣдушка-то! И бабушка тотчасъ согласилась?

— Не тотчасъ; дѣло обошлось не безъ душевной борьбы. Но въ концѣ концовъ уступила.

— И тайно обвинчалась? Точно какъ въ романѣ! А родители бабушки что же?

— Что имъ оставалось? Положили гнѣвъ на милость. \*)

— А что, папенька, вы позволите мнѣ еще одинъ вопросъ, который меня, какъ сына, интересуетъ болѣе, чѣмъ всякаго другого: у васъ самихъ-то съ маменькой не было, что называется, романа?

Чертъ Василя Аѳанасьевича приняли торжественно-серьезное выраженіе. Помолчавъ немного, онъ пытливо заглянулъ въ глаза сына и промолвилъ:

— Романа въ смыслѣ ряда занимательныхъ романическихъ приключеній у насъ не было, да и быть не могло: я былъ уже подросткомъ, когда маменька твоя была еще въ пеленкахъ; а когда я къ ней присватался, ей было всего 13 лѣтъ. До романовъ ли тутъ? Нѣтъ, то была простая, но самая свѣтлая идиллія, какой ни Гесснеру, ни Карамзину въ-вѣкъ бы не выдумать.

— Все равно, папенька: расскажите, пожалуй—

---

\*) Въ своихъ «Старосвѣтскихъ помѣщикахъ» Аѳанасій Ивановичъ и Пульхерія Ивановнѣ, Н. В. Гоголь въ послѣдствіи изобразилъ симпатичныя личности своихъ дѣда и бабушки съ отцовской стороны, съ неизбежными, разумеется, въ каждомъ художественномъ произведеніи отступлениями.

ста, какъ это было! Вы такой неподобный рассказчикъ...

— Забавные анекдоты передавать я, точно, умѣю, но тутъ, другъ мой, дѣло иное: глубокіе, нѣжные сантименты, для твоего возраста непроступные...

— Но понять-то ихъ все-таки не мудрость какая? Не такой же я малолѣтній! Голубчикъ папенька!..

— Гмъ... Въ нѣкоторомъ отношеніи тебѣ, молокососу, пожалуй, въ самомъ дѣлѣ небылочно получить благовременно понятіе о чистыхъ идиллическихъ чувствахъ, тѣмъ болѣе, что—почемъ знать—придется ли еще намъ съ тобой говорить объ этомъ, долго ли еще проживу я?

— Что вы, папенька!

— Да, дружокъ, всѣ мы подъ Богомъ ходимъ... Съ чего начать-то?

— А съ первой встрѣчи вашей съ маменькой.

— Что разумѣть подъ нашей первой встрѣчей? Былъ я тогда такимъ же вотъ, какъ ты, безпардоннымъ школяромъ. Папенька мой, дослужившись до чина полкового писаря, а по-нынѣшнему майора, записалъ меня, по обычаю того времени, чуть не со дня рожденія въ военную службу, и 7-ми лѣтъ я уже числился заочно корнетомъ. Но воспитывался я, какъ и папенька, въ бурсѣ. Такъ-то вотъ мнѣ, 13-тилѣтнему бурсаку, явилась въ сновидѣніи Царица Небесная и указала мнѣ дѣвочку-младенца, яко бы мою будущую спутницу жизни. Недолго погода меня повезли къ Трошинскимъ.



въ Ярески. Самъ Дмитрій Прокофьевичъ служилъ тогда еще въ Петербургѣ, и застали мы въ Ярескахъ только бабушку, Анну Матвѣевну.

— Она вѣдь вдова его старшаго брата, Андрея Прокофьевича?

— Да, и чрезъ нее-то, урожденную Косяровскую, родную тетку твоей маменьки, мы и состоимъ въ родствѣ съ Трошинскими \*). Единственный сынъ ея, Андрей Андреевичъ, состоялъ уже тогда на военной службѣ, и, скучая одна въ деревнѣ, она взяла къ себѣ на воспитаніе шестинедѣльную племянницу Машеньку, дочку своего брата, Ивана Матвѣевича Косяровскаго, служившаго въ то время въ Орлѣ. Какъ улицезрѣлъ я ее тутъ, младенца, такъ моментально призналъ въ ней свою нареченную изъ вѣщаго сна, мигомъ понялъ, что вотъ съ кѣмъ судьба моя связана навѣки.. И въ такомъ-то непоколебимомъ убѣжденіи я, подрастая, мужая, издали тихомолкомъ наблюдалъ съ тайнымъ восхищеніемъ, какъ малютка изъ года въ годъ превращалась въ прелестнѣйшую дѣвочку.

\*) Для большей наглядности родства Марьи Ивановны Гоголь съ Трошинскими приводимъ здѣсь краткую родословную послѣднихъ:

Прокофій Трошинскій

Анна Матв., урожд. Косяровская <small>(родн. тетка М. И. Гоголь)</small>	=	Андрей Дмитрій <small>(холостякъ)</small>
	—	
	=	Ольга Дм., урожд. Кудрявцева

Знакъ = означаетъ супружество.

— Такъ маменька уже дѣвочкой была хороша собой?

— Прелестна, говорю тебѣ! Для меня по крайней мѣрѣ милѣе ея въ цѣломъ мѣрѣ ни раньше, ни позже никого не бывало. Но замѣчательнѣе всего была у нея нѣжность, бѣлизна кожи, за которую бабушка Анна Матвѣевна такъ и прозвала ее «бѣлянкой».

— А у кого училась маменька?

— Читать да писать? Все у нея же. добрѣйшей своей тетюшки. Дѣвочка такъ привязалась къ теткѣ, что горько плакала. когда отецъ, выйдя въ отставку, потребовалъ ее къ себѣ. На усиленные просьбы Анны Матвѣевны онъ вскорѣ возвратилъ ей дѣвочку. Но когда онъ затѣмъ снова поступилъ на службу почтмейстеромъ въ Харьковъ, то вторично отобралъ ее у тетки. Раньше однако, на военной службѣ, онъ уже лишился одного глаза, и доктора настояли на томъ, чтобы онъ окончательно подалъ въ отставку. Тутъ онъ со всей семьей, въ томъ числѣ и съ Машенькой, поселился на хуторѣ по сосѣдству отъ насъ.

— То-то, я думаю, вамъ была радость! И часто вы ихъ тамъ навѣщали?

— Вначалѣ не такъ часто: отца ея стѣснялся. Но однажды какъ-то я заѣхалъ къ старику посоветоваться насчетъ службы въ Харьковѣ. А онъ давно ужъ прихварывалъ, и мысли о смерти все чаще его беспокоили. «Не о себѣ тревожусь», сказалъ онъ мнѣ тутъ и указалъ на дѣтей: «вотъ моя забота». А я взглянулъ на Машеньку которой въ

скорости и з должно было стукнуть, и подумалъ про себя: «Отъ одной-то я васъ скоро избавлю!»

— Но тогда еще не объяснились?

— Нѣтъ, потому что искалъ случая сперва объяснитьсь съ нею самою.

— Такъ маменька по дѣтской невинности своей ничего еще не замѣчала?

— Какъ ужъ не замѣтитъ? Особливо, когда она, случалось, гостила у тетки въ Ярескахъ, а я ни съ того, ни съ сего то и дѣло наѣзжалъ къ нимъ, либо лѣтнимъ вечеромъ, бывало, съ того берега Псла музыкою ей вѣсть о себѣ подавалъ. И выйдетъ она съ дѣвушками, какъ въ старыя времена боярышня съ мамками, няньками да сѣнными дѣвушками, погулять по бережку; а я по той сторонѣ рѣчки, изъ-за кустовъ, невидимымъ пастушкомъ музицирую вслѣдъ за ними. Словомъ, новѣйшіе Филимонъ и Бавкида.

— Но въ концѣ концовъ-то все-же изъяснились?

— Да; и сдѣлалось оно какъ-то само собою. Завернулъ я опять къ нимъ, будто мимоѣздомъ. Анна Матвѣевна куда-то отлучилась по хозяйству; а на вопросъ мой людямъ: гдѣ барышня, — «вышли, молъ, въ садъ погулять». Спустился и я въ садъ. Тутъ Машенька мнѣ изъ боковой аллеи прямо навстрѣчу. Столкнулись лицомъ къ лицу.

«— Ахъ!

«Вся, голубушка, такъ и вспыхнула огнемъ, словно почуяла сердцемъ, что вотъ когда должна

судьба ея рѣшиться, и безъ оглядки порхъ отъ меня вонъ. Я же за нею; нагналъ уже въ домъ.

«— Куда вы, Марья Ивановна? Погодите же меня.

«Остановилась, еле духъ переводить и глазъ поднять не смѣетъ.

«— Развѣ я такой ужъ страшный?

«Молчитъ, сама какъ листь дрожить. Жаль мнѣ ее стало, бѣдненькую, ободрить хотѣлось.

«— Слышали вы намеренно мою музыку?—говорю.

«— Слышала...

«А у самой углы милаго алаго ротика, знай, подергиваетъ, точно слезы близко.

«— Что же, вѣрно, не понравилось?

«— Понравилось. Но...

«Запнулась и опять замолкла.

«— Но что же-съ?

«— Больше слушать васъ мнѣ никакъ нельзя-съ.

«— О! это почему же?

«— Потому, что, когда я рассказала про вашу музыку тетенькѣ, она строго-настрого запретила мнѣ ходить такъ далеко отъ дому...

«И на рѣсницахъ у дѣвоньки моей заблистали двѣ слезинки. Тутъ я уже не вытерпѣлъ, взялъ ее за ручку.

«— Милая Машенька!—говорю.—Скажите-ка по душѣ: любите вы меня или нѣтъ?

— Люблю съ...—говорить:—какъ всѣхъ людей.

\*

«— Какъ всѣхъ? Ничуть не больше?»

«— Н-нѣтъ-съ.

«И отдернула ручку. Въ разговорѣ нашемъ мы такъ и не замѣтили, какъ вошла въ комнату Анна Матвѣвна.

«— Что у васъ тутъ, милые мои?—говорить, а сама улыбается.

«Вспорхнула Машенька — и была такова. У меня же вопросъ былъ рѣшенъ безповоротно, и я тутъ-же изложилъ Аннѣ Матвѣвнѣ, что такъ, моль, и такъ: желалъ бы связать судьбу свою съ судьбой ея племянницы вѣчными узами, да вотъ еще сомнѣваюсь въ ея чувствахъ.

«— Не сомнѣвайтесь, другъ мой,—сказала мнѣ добрая Анна Матвѣвна:—Машенька уже призналась мнѣ какъ-то, что безъ васъ скучаетъ, что чувствуетъ къ вамъ что-то особенное.

«— Но любить ли она меня?»

«— Объ этомъ спросите ее сами.

«— Сейчасъ вотъ только справлялся и получилъ въ отвѣтъ, что «любить, какъ всѣхъ людей, ничуть не больше».

«— Ну, это было сказано со страху,—объяснила съ улыбкой Анна Матвѣвна.

«— Чего же ей бояться?»

«— А я ее. видите ли, напугала, что всѣ вы, мужчины, прелукавый народъ...»

Василій Аванасьевичъ остановился въ своемъ разсказѣ и тихонько про себя засвисталъ.

Когда сынъ вопросительно поднялъ глаза, то увидѣлъ, что отецъ, погруженный въ пріятныя

мечтанія, съ блаженной улыбкой заглядѣлся куда-то вдаль.

— Это, папенька, вы какую мелодію свищете?— полюбопытствовалъ мальчикъ.— Не ту ли, которою вы съ того берега маменькѣ о себѣ вѣсть подавали?

— Ту самую... Нѣтъ для меня ея милѣе!

— А дальше что же было?

— Дальше?.. Все какъ по-писанному. Анна Матвѣевна не замедлила съѣздить къ отцу Машеньки и получить его согласіе. Свадьбу отложили еще на годъ, чтобы невѣстѣ было хоть 14 лѣтъ, да чтобы было когда приданое изготовить

— И сама она ничего уже не возражала?

— Возражала одно: что подруги, дескать, смѣяться стануть: «такая маленькая и уже замужъ идетъ!» Но когда насъ сговорили, она всякій разъ была очень рада моимъ приѣздамъ. Письма же мои не рѣшалась еще распечатывать, а передавала отцу.

— А отецъ?

— Отецъ перечтетъ, бывало, да съ усмѣшкой возвратитъ ей: «И откуда у молодчика всѣ эти сладости берутся? Видно, романовъ начитался!»

— Но дочери сладости ваши приходились, вѣрно, по вкусу?

— О, да! Она носила мои письма всегда при себѣ на груди; а когда вышла замужъ, то перевязала розовымъ шнурочкомъ и спрятала въ комодъ на самое донышко потайнаго ящика, гдѣ они и донынѣ у нея хранятся.

— Вотъ бы взглянуть, право: какъ вы, папенька, тогда въ чувствахъ изъяснялись! Я непремѣнно попрошу маменьку показать мнѣ.

— Не безпокойся, не покажетъ: это для нея такая реликвія, которой еще никто другой не видѣлъ. Какъ-то разъ самъ я хотѣлъ ихъ изорвать, такъ съ нею чуть истерики не сдѣлалось.

— Значить, очень ужъ сердечно написаны?

— Видно, что такъ. Чѣмъ долѣе отлагалась свадьба, тѣмъ сильнѣе разгоралось мое сердце. Та-же буря, что задуваетъ маленькое пламя, пуше раздуваетъ большое.

— И гдѣ же васъ наконецъ повѣнчали? Въ Ярескахъ?

— Да, у тетки. У нея же я долженъ былъ покамѣстъ и женочку свою оставить; послѣ чего она еще у отца погостила. Я же почасту наѣзжалъ къ ней изъ Васильевки отъ моихъ собственныхъ родителей, которые оба были тогда еще живы. Спустя мѣсяць, мои родители съѣздили за своей богоданной дочкой. Она была вѣдь еще полуребенокъ, но такъ мила, что старики мои не могли налюбоваться, надышаться на нее. Особенно покойная маменька нянчилась съ нею, обряжала ее, какъ куколку, въ свои лучшія платья, не давала ей пальцемъ коснуться хозяйства...

— Оттого-то, должно быть, наша маменька и до сегодняшняго дня не такъ-то практична

— Ну, ну, ну, сдѣлай милость!—обидѣлся за свою Машеньку старый романтикъ.—Однако солнышко-то, смотри-ка, совсѣмъ спряталось, а ве-

черняя звѣзда вонъ домой намъ дорогу кажетъ: «сужинать, моль, пора».

Дѣйствительно, когда они, вернувшись восвояси, вошли въ столовую, Марья Ивановна уже хлопотала около накрытаго стола.

— Слава тебѣ, Господи! — вздохнула она съ облегченіемъ. — Гдѣ это вы пропадали? Вѣрно, опять, гуляя, заболтались?

— Заболтались, жиночку, заболтались, — весело отозвался Василій Аѳанасьевичъ. — Да вѣдь и тема же какая!

— Какая?

— Богатѣйшая — нашъ собственный съ тобою романъ супружескій.

— Полно тебѣ, Василій Аѳанасьевичъ, при сынѣ глупости говорить! — съ степеннымъ видомъ замѣтила Марья Ивановна. — Да куда это дѣвочки опять запропастились? Машенька! Анненька! Лизанька! Олечка! гдѣ вы?

— Не глупости, матинько, а святая истина, — съ чувствомъ говорилъ Василій Аѳанасьевичъ. — Ну, не сердись, душенька, поцѣлуй меня!

— Я не сержусь, — отвѣчала Марья Ивановна, послушно цѣлуя мужа.

На эту идиллическую сцену влетѣли въ горницу четыре маленькія зрительницы — дочери.

— Папенька съ маменькой цѣлуются! папенька съ маменькой цѣлуются! — заликовали онѣ на весь домъ и, какъ козочки, запрыгали вокругъ обнявшихся родителей.



Марья Ивановна, сконфузясь, поспѣшила оттолкнуть отъ себя мужа.

— Вотъ видишь ли!—укорила она его.— Ты все съ своими нѣжностями! А галушки тѣмъ временемъ совсѣмъ, пожалуй, разварились. Эй! кто тамъ? подать поскорѣе галушки!





## ГЛАВА XII.

### Генеральная репетиція «Простака».

**Н**аканунъ Ольгина дня, 10-го іюля, Гоголи—отець съ сыномъ—двинулись въ своей родовой желтой коляскѣ въ Кибинцы на предстоящій семейный праздникъ Дмитрія Прокофьевича Трощинскаго. Была у нихъ еще третья спутница, но не Марья Ивановна, чуждавшаяся большого общества, а близкая со-сѣдка ихъ, Александра Ѳедоровна Тимченко, барышня лѣтъ 22-хъ—23-хъ. Крайне застѣнчивый съ другими барышнями, Никоша обходился съ Александрой Ѳедоровной безъ всякаго стѣсненія и шутя называлъ ее «сестрицей», потому что зналъ ее еще съ малолѣтства, когда она долгое время провела у нихъ въ Васильевкѣ Александра Ѳедоровна, простая, скромная провинціалка, при чужихъ также ступшевыалась. Съ близкими же людьми ея веселый

нравъ выступалъ наружу. Такъ она охотно смѣялась надъ всякими пустяками. охотно переряжалась на святкахъ — даже въ мужское платье, и однажды, одѣвшись евреемъ, чрезвычайно типично изобразила и рѣчью и ухватками, какъ Ицка пьетъ водку. Эта-то подражательная способность ея подала мысль Василию Аѳанасьевичу—завербовать талантливую барышню для своего любительскаго спектакля, въ которомъ для себя предназначилъ главную мужскую роль, а для нея—главную женскую. Сама Александра Ѳедоровна, не будучи вхожа въ домъ «кибинцскаго царька» (какъ титуловался теперь бывший министръ юстиціи въ цѣломъ околоткѣ), въ-тайнѣ, однако, давно жаждала разъ-то хоть заглянуть въ его «царскіе чертоги», увидѣть во всемъ блескѣ собирающуюся тамъ мѣстную знать. Поэтому Василию Аѳанасьевичу не стоило особеннаго труда склонить ее принять участіе въ спектаклѣ.

— За роль-то свою я не боюсь, — признавалась она своимъ двумъ спутникамъ, — притомъ мы съ вами, Василій Аѳанасьевичъ, столько разъ прошли уже пьесу а въ театральномъ костюмѣ, впередъ знаю, я буду чувствовать себя еще гораздо развязнѣе, точно я—не я, а совсѣмъ другая; но все-таки какъ-то жутко, невольно сердце сжимается, когда попадаешь въ первый разъ въ жизни въ самыя сливки общества...

— Не просто въ сливки, а въ сметану, — подхватилъ Никоша, — потому что «кибинцскій царекъ» чѣмъ не сметанный?

— Благодарителя своего, Никоша, сдѣлай милость, не порочь,—серіозно внушилъ сыну Василю Аванасьевичъ.—Во-первыхъ, это и неблагодарно: по его только могучему предстательству ты освобожденъ въ гимназіи отъ учебной платы по 1,200 рублей въ годъ—легко сказать! а во-вторыхъ, что мы съ тобой, скажи, передъ нимъ, сановнымъ царедворцемъ? Песчинки малыя!

— Вы-то сами не песчинка,—позволила себѣ возразить Александра Федоровна:—вы были, кажется, когда-то даже его личнымъ секретаремъ?

— Былъ; да что секретарь этакого государственнаго дѣятеля? Блѣдная тѣнь его. Имнѣ, привыкшему здѣсь, въ деревнѣ, съ молодыхъ ногтей къ волѣ, было, признаться, все-же отраднѣй оставаться самимъ собой, хоть и малымъ человѣкомъ, чѣмъ креатурой, ласкателемъ мужа, хотя бы и нарочито цесарскаго. Затѣмъ-то, при всемъ моемъ высокопочитаніи къ его высокопревосходительству, я въ скоромъ времени уволился отъ секретарства.

— Вотъ, видите ли! А теперь онъ опять въ васъ нуждается: вы—его правая рука при всѣхъ домашнихъ торжествахъ.

— И за честь почитаю! Другого подобнаго ему замѣчательнаго человѣка во всей нашей Украинѣ съ фонаремъ поискать. Мужъ разума глубокаго и куда искусный въ гражданскихъ вещахъ, самъ пробившій себѣ дорогу до первыхъ шаржей. Дворянство свое Трощинскіе хоть и доводятъ до XVI вѣка, но, подвергшись разнымъ превратностямъ, долго обрѣтались не въ аванта-

жѣ. У родителя нашего Дмитрія Прокофьевича имѣлась только маленькая благопріобрѣтенная земляца, часть нынѣшнихъ Яресокъ.

— Такъ дѣтство свое Дмитрій Прокофьевичъ провелъ, значить, въ Ярескахъ?

— Да, вмѣстѣ съ тремя старшими братьями, пока его не отдали въ кievскую семинарію, а затѣмъ и въ академію, откуда онъ былъ выпущенъ съ отличіемъ. Счастливая звѣзда стояла надъ нимъ; то было время первой Турецкой войны при Великой Екатеринѣ, и судьба закинула его въ нашъ полковой штабъ въ Яссахъ. Здѣсь онъ скоро выдвинулся среди другихъ гражданскихъ чиновъ штаба, и генераль-аншефъ князь Николай Васильевичъ Репнинъ, полномочный посолъ нашъ въ Константинополѣ, сразу его отличилъ, полюбилъ и взялъ къ себѣ въ правители канцеляріи. Съ этой ступени Дмитрій Прокофьевичъ зашагалъ все выше да выше—до министра удѣловъ, а потомъ и юстиціи. Когда же онъ, межъ двухъ министерскихъ постовъ, отдыхалъ здѣсь, въ Кибинцахъ, на заслуженныхъ лаврахъ, полтавское дворянство избрало его въ губернскіе маршалы. Съ почетомъ пришли сами собою и земныя блага.

— То-то онъ такъ роскошно, говорятъ, устроился въ своихъ чертогахъ!

— Не столько роскошно, сколько съ толкомъ и со вкусомъ: завелъ себѣ громадную бібліотеку, множество драгоцѣнныхъ картинъ знаменитыхъ мастеровъ, всякаго рода коллекціи: оружія, монеты и медалей, разныя рѣдкости, какъ напр., по-

длинные фарфоровые часы, подсвѣчники и бюро злополучной королевы Маріи-Антуанеты... Какъ былъ онъ весь вѣкъ свой покровителемъ окружающихъ, заслуживъ прозваніе «бича справедливости и защитника бѣдныхъ», такъ подъ старость сдѣлался покровителемъ искусствъ, новымъ Перикломъ въ миргородскихъ Аѳонахъ.

— Этакій вѣдь счастливецъ!

— Счастливецъ?—со вздохомъ повторилъ Василій Аѳанасьевичъ и, понизивъ голосъ, чтобы кучеръ и слуга на козлахъ не разслышали, прибавилъ:—А все-таки, между нами сказать, я, безвѣстный и небогатый человѣкъ, не помѣнялся бы съ этимъ счастливецемъ!

— Отчего же нѣтъ?

— Оттого, что онъ одинокъ, какъ перстъ: ни жены, ни дѣтей. Есть у него, правда, племянникъ, Андрей Андреевичъ, тоже генералъ и прекрасный человѣкъ, а все только сынъ брата, не свое родное дѣтище! И всѣ радости земныя ему не въ радость. Одной ногой къ тому же въ гробу стоять: не для себя бы ужъ жить — для своихъ; а своихъ-то и нѣтъ... Бѣдный богачъ! несчастный счастливецъ!

Въ такихъ разговорахъ наши путники незамѣтно добрались до цѣли своего путешествія. Уже смерклось, но изъ-за пышной зелени раскидистыхъ дубовъ, липъ и грабовъ, окружавшихъ кибицкіе «чертоги» (двухъэтажное и деревянное, но очень видное зданіе), привѣтливо мелькали имъ многочисленные огни, замачиво доносились странные звуки домашняго оркестра.

— Вѣчная сутолока, вѣчный праздникъ!— замѣтилъ Василій Аѳанасьевичъ.— Гостей и теперь уже, поди, не обобратъся.

И точно: когда коляска ихъ вкатилась въ обширный дворъ усадьбы, отовсюду обставленный флигелями и службами, подъ большимъ навѣсомъ въ глубинѣ двора можно было замѣтить нѣсколь-ко пыльныхъ дорожныхъ экипажей—каретъ рыдвановъ, дормезовъ.

— Куда, куда!— крикнулъ Василій Аѳанасьевичъ кучеру, повернувшему было къ главному подъѣзду.— Вотъ тѣда, къ моему флигельку!

«Своимъ» онъ называлъ флигелекъ, въ которомъ для него съ семействомъ разъ навсегда были отведены три горницы.

— А мнѣ, Василій Аѳанасьевичъ, какъ же быть-то?— спросила Александра Ѳедоровна вдругъ упавшимъ голосомъ.— Меня здѣсь вѣдь не ждутъ... Я готова, право, вернуться домой...

— О! на этотъ счетъ не тревожьтесь. Я сейчасъ познакомлю васъ съ молодой супругой Андрея Андреевича, Ольгой Дмитриевной: она здѣсь временно на правахъ хозяйки—и особа премилая, ни чуть не гордая.

Буку-сына онъ не счелъ нужнымъ брать теперь съ собой къ хозяевамъ, и тотъ отъ нечего дѣлать, въ ожиданіи, что ему принесутъ стаканъ чая, взялъ съ полки какую-то книжку. Но не прочелъ онъ и десяти страницъ, какъ услышалъ торопливые шаги возвращающагося отца.

— Ну, сынку, идемъ-ка,— объявилъ Василій

Аѳанасьевичъ. — Обжора этотъ, Павелъ Степановичъ, прислалъ записку, что объѣлся огурцовъ съ медомъ...

— И вы отдаете мнѣ его роль? — подхватилъ Никоша, вскакивая съ мѣста.

— Ни! Къ завтраму онъ надѣется починиться. Нынче же на генеральной репетиціи ты его замѣнишь. На безрыбьи и ракъ рыба.

— О! я ему завтра поднесу нарочно еще два десятка огурцовъ.

— Добродѣтельный мальчикъ, нечего сказать!

Для домашняго театра въ Кибинцахъ было отведено особое зданіе. Декораціи для «Простака», однажды уже играннаго въ Кибинцахъ, были въ исправности; только освѣщеніе сцены ограничивалось покуда тремя-четырьмя сальными огарками.

Александра Ѳедоровна съ перваго же выхода въ роли разбитной бабѣнки Параски набралась опять смѣлости и выказала себя бойкой актрисой. А про Василя Аѳанасьевича, игравшаго ея мужа, казака Романа, и говорить нечего: каждое слово, каждый жестъ этого увальня-простофили были безподобны, прямо взяты съ натуры. Когда Параска упрекаетъ лѣнивца, что онъ ничего не работаетъ, тогда какъ кумъ Вакула «николи не сидитъ безъ дила; и сѣгодня раненько потягъ у поле,» — Романъ, сладко зѣвая и почесывая спину, переспрашиваетъ съ образцовой флегмой:

— Чого въ поле?



— По зайци,—отвѣчаетъ Параска.

— Якъ по зайци? У его нема ни хортивъ, ни тенить, ни ручницы.

— Отто-то й диво!—презрительно усмѣхается хитрая баба.—Винъ поросямъ ловить зайци.

Примѣръ сосѣда подбиваетъ простака. Но какъ приняться за дѣло? Жена его надоумливаетъ взять въ мѣшокъ поросенка, да какъ завидить зайца, такъ и выпустить на него поросенка. Наставляя такъ, она уже одѣваетъ мужа, подпоясываетъ, суетъ ему въ руки ломоть хлѣба. Романъ прячетъ хлѣбъ за пазуху и съ глупымъ самодовольствомъ оглядываетъ свою «чепурную» фигуру:

— Оттеперь зовсимъ козакъ! Тилько закуритъ люльку, да хочъ и у Кримъ.

Не торопясь, онъ накладываетъ табакомъ «люльку», запаливаетъ ее и, заломивъ на бекрень баранью шапку, отправляется на охоту за зайцемъ. Жена же, едва простакъ за дверь, звонко затыгиваетъ:

—«Вяне вишня, посихае,  
Що росте пидъ дубомъ:  
Сохну, чохну такъ несчастна,  
Живучи зъ нелюбомъ.  
«Прійди, милый, утри слези,  
Що я проливаю,  
Бо одради ніякѣи  
Бильшь въ свити не маю.»

Прислонясь къ задней кулиси, Никоша жадно слѣдилъ за дѣйствіемъ и забылъ даже, что самому ему предстоитъ сейчасъ выйти на сцену; когда

же теперь Параска пропѣла свою пѣсенку съ такимъ неподдѣльнымъ чувствомъ, онъ невольно забилъ въ ладони:

— Bravo! bravo!

— Во-первыхъ, не «bravo», а «brava», потому что поеть не мужчина, а дама, — замѣтилъ ему искавшій уже его режиссеръ-отецъ.—А во-вторыхъ, твой же выходъ. Зѣвать, братецъ, не полагается.

Зрителей не было; сцена была только слабо освѣщена, и потому дебютантъ нашъ, очутившись на подмосткахъ. тотчасъ вошелъ въ роль: съ характеристическимъ акцентомъ дьячка-семинариста онъ выражаетъ «Параскевѣ Пантелимоновнѣ» свою несказанную радость, что слышитъ «глазь веселія» ея сердца. Параска же со смѣхомъ рассказываетъ Хомѣ Григоровичу, какъ спровадила мужа ловить зайцевъ поросенкомъ, и ставитъ на столъ передъ дорогимъ гостемъ «запиканку». Но едва лишь тотъ налилъ себѣ чарочку, какъ за окномъ хаты раздается громкій собачій лай. Дьячекъ выглядываетъ за окошко: «Ай, батюшки! соцкій съ солдатомъ!»—и, какъ угорѣлый, мечется по хатѣ. Параска, не растерявшись, прячетъ труса подъ «привалокъ» и прикрываетъ «рядномъ».

Такой маленькій роздыхъ былъ начинающему актеру очень кстати, чтобы немножко хоть духъ перевести.

«Уфъ! даже потъ прошибъ. А сыгралъ-то, кажись, изрядно? Реплику бы только опять не пропустить.»

Между тѣмъ соцкій угощается стоящею на столѣ «горилкой», угощаетъ и солдата. Тотъ съ дороги чего бы и закусилъ, да у хозяйки, вишь, про непрошенныхъ гостей ничего не изготовлено.

— Ну, нечего дѣлать,—говорить служивый, укладываясь спать на лавку.—Солдатское брюхо привыкло постничать.

И онъ пускаетъ тяжелый храпъ.

— Уже москаль и захрипъ!—замѣчаетъ соцкій.—Знемигся, сердяга, видъ походу.

Молвилъ и вышелъ. Ну, Хома Григоровичъ, теперь опять на сцену!

Выбрался дьячекъ нашъ изъ-подъ рядна и со страхомъ озирается. Но соцкаго нѣтъ, солдатъ на лавкѣ храпить, не шелохнется; опасность миновала. Со вздохомъ облегченія Хома-Никоша усаживается снова за столъ, а добрая хозяйка достаетъ для него изъ запечка варену \*), хлѣба да жаренаго цыпленка. Знай, угошайся!

Но не тутъ-то было. Наклонясь къ окошку, Параска видитъ мужа, возвращающагося съ охоты. Вотъ не было печали!

Дьякъ поспѣшно лѣзетъ опять подъ прилавокъ; Параска того спѣшнѣе прячетъ все угощеніе въ запечекъ, приноситъ и кладетъ на столъ заранѣе припасеннаго, убитаго зайца, а сама, какъ ни въ чемъ не бывало, садится за пряжу. Входитъ въ хату Романъ и накидывается на свою ба-

---

\*) Варена—подогрѣтая водка съ медомъ и пряными кореньями.

бу съ бранью, что одурачила-де его съ зайцемъ; но приподнятый кулакъ его застываетъ въ воздухѣ: на столѣ лежитъ мертвый заяцъ. Откуда онъ взялся? Жена съ самымъ невиннымъ видомъ объясняетъ, что такъ и такъ, молъ, сейчасъ поросенокъ принесъ. Вотъ такъ штука!

Тутъ солдатъ, притворившійся спящимъ, будто просыпается и на жалобу хозяина, что ему ѣсть нечего, предлагаетъ угостить его и хозяйку на славу.

— Я буду ворожить,—говоритъ онъ,—такъ вамъ надобно стать вотъ здѣсь и зажмурить глаза.

Поставивъ обоихъ посреди хаты, колдунъ обводитъ вокругъ нихъ по полу кабалистическую черту и бормочетъ:

— Беръ... баръ... даръ!

Романъ выражаетъ опасеніе, что онъ ненарокомъ, пожалуй, «расплющить очи». Солдатъ грозитъ, что этакъ и самъ онъ, Романъ, пропадетъ, и ему, солдату, бѣды надѣлаетъ.

— Уже буду держать рукою,—говоритъ Романъ.

— Ну, держи покрѣпче.

Изъ запечка появляются опять на столѣ варена, хлѣбъ и цыпленокъ.

— Ну, Романъ, теперь конецъ. Смотри сюда. Романъ смотритъ и глазамъ не вѣритъ:

— Гля!

— Ну, хозяинъ, милости просимъ покушать.

Суевѣрный хозяинъ осѣняется крестомъ, шепчетъ про себя молитву и дрожащею рукою на-

\*

ливаеть себѣ, по примѣру колдуна, чарку. а затѣмъ принимается также и за цыпленка. Параска украдкой отъ мужа умоляетъ солдата выпустить ея гостя. Солдатъ, утоливъ голодь, не прочь исполнить ея просьбу и, на вопросъ Романа: «не буде ли треба хату посвятити?» успокаиваетъ его:

— Не надо: я тебѣ самъ всѣхъ чертей выгоню; только ни съ мѣста!

Онъ становитъ опять обоихъ супруговъ посреди хаты, завязываетъ имъ глаза и связываетъ руки.

— Ухъ, страшно!—бормочеть простакъ.

— Ну, Романъ, —внушаетъ ему колдунъ:—тебѣ надобно выучить сіи волшебныя слова: «джунъ... беръ... дачъ... дуръ... ньеръ... гайта... де...»

Романъ повторяетъ и перевираетъ. Но самое страшное для него еще впереди: колдунъ вытаскиваетъ изъ-подъ прилавка раба божія, дьяка Хому, снимаетъ съ него верхнее платье и вымазываетъ ему всю рожу сажей; затѣмъ развязываетъ хозяину глаза, стучитъ по полу палкой и бормочеть свой заговоръ. «Нечистый» хватаетъ изъ угла метлу и верхомъ на ней вылетаетъ вонъ изъ хаты.

Трусъ Романъ, разумѣется, трепещетъ опять отъ страха, а Параска читаетъ ему мораль:

— Эй, Романи! ни. линуйся. Линось до добра николи не приво́дитъ.

Комедіи конецъ.

— А что-жъ, разыграли вѣдь хоть куда?—

обратился Василій Аѳанасьевичъ къ Александрѣ Ѳедоровнѣ.—Вы, моя паняночка, просто прелесть, великолѣпны! Да и хлопчикъ мой хоть и переигралъ маленько, а для дублёра вовсе не такъ плохъ. И какъ кстати вѣдь, штукарь, метлу эту подхватилъ, которой въ текстѣ у меня даже не показано! Поди-ка сюда, штукарь: надо расцѣловать тебя.

Но когда «штукаръ» съ зачерненнымъ еще лицомъ подошелъ къ отцу, тотъ замахалъ на него руками и попятился назадъ при общемъ смѣхѣ окружающихъ:

— Цуръ мене, цуръ, нечистый! Сгинь и умойся!





### ГЛАВА XIII.

**Читатели знакомятся съ самимъ «кибинцкимъ царькомъ».**

**В** томленный тринадцативерстнымъ переѣздомъ изъ Васильевки въ Кибинцы, а еще болѣе своимъ дебютомъ на генеральной репетиціи «Простака», молодой Гоголь охотно проспалъ бы долѣе обыкновеннаго. Но уже въ 8-мъ часу утра онъ былъ внезапно разбуженъ неистовымъ собачьимъ лаемъ и отчаянными человѣческими воплями. Онъ вскочилъ съ постели и подбѣжалъ къ окну, выходившему на обширный дворъ усадьбы.

Вопилъ такъ, оказалось, какой-то странный субъектъ, наряженный святочнымъ журавлемъ, т.-е. въ вывороченный на изнанку бараній тулупъ, съ продѣтою въ рукавъ его палкой, на которой намотанъ былъ платокъ наподобіе птичьей головы съ деревяннымъ клювомъ. Штукъ пять или шесть здоровенныхъ псовъ съ яростью трепали его за полы тулупа, а онъ оралъ бла-

гимъ матомъ, прыгалъ и корчился, какъ сумасшедшій. Даровое зрѣлище привлекло уже, разумѣется, толпу зѣвакъ изъ конюшни и кухни, которые, вмѣсто того, чтобы выручить бѣднягу, со смѣхомъ только наускивали еще на него разсви-рѣпѣвшихъ собакъ.

— Озорники! рвань поросычья! Разгѣните бестій! — пронесся тутъ по двору повелительный старческій голосъ, и Никоша увидѣлъ въ окнѣ хозяйскаго кабинета стариковскую голову въ ночномъ колпакѣ и турецкомъ шелковомъ шлафорѣ.

«Неужели это самъ Дмитрій Прокофьевичъ? Никакъ бы въ этомъ обличьи не узналъ!»

Но самъ Дмитрій Прокофьевичъ, видно, спохватился, что ночной костюмъ его предназначенъ не для всѣхъ, и захлопнулъ уже окошко. Приказъ его между тѣмъ былъ немедленно исполненъ: добрый ушатъ воды да нѣсколько палокъ и полѣньевъ разомъ угомонили разъяренныхъ псовъ, и жертва ихъ могла снять съ себя журавлиный и принять человѣческій образъ. Изъ овчины вылу-пился среднихъ лѣтъ длинноволосый мужчина въ долгополой рясѣ.

«Отецъ Вареоломей! Такъ вѣдь и думалъ», — сказалъ про себя Никоша, узнавшій въ злосчастномъ одного изъ кибинцскихъ шутовъ, отстав-ного дьячка.

А тутъ, откуда ни возмись, выскочилъ и подбѣжалъ къ послѣднему, въ подлинномъ уже скоморошьемъ нарядѣ, другой домашній шутъ



Трощинскаго, Романъ Ивановичъ, и привѣтствовалъ его звонкимъ пѣтушинымъ крикомъ.

— Отойди до грѣха! — огрызнулся на него отставной дьячекъ, запахиваясь рясой.

— «Отойди, не гляди!» — передразнилъ Романъ Ивановичъ. — «Что сукна съ моей шкуры сошло!» сказалъ горюнь баранъ. «Не тужи», сказалъ мужикъ: «скоро самого съѣдимъ».

— Полноте, Романъ Ивановичъ! Бросьте несчастнаго! — услышалъ Никоша изъ комнаты рядомъ окрикъ своего отца.

Романъ Ивановичъ оглянулся, до ушей осклабился, прошелся по двору колесомъ до самыхъ оконъ Василя Аванасьевича и униженно преклонился передъ нимъ чуть не до земли съ ужимками торгаша-еврея.

— Здрасштуйте вамъ! жъ добрымъ вутромъ васшему благоутробію.

— Здравствуйте, — отвѣчалъ Василій Ивановичъ. — А знаете ли, Романъ Ивановичъ, изъ васъ вышелъ бы недурной клоунъ. И не диво, такъ какъ вы и безъ того балясничаете съ утра до вечера.

— Нужда скачетъ, нужда пляшетъ, — отозвался своимъ обыкновеннымъ уже голосомъ балясникъ, маленькіе смышленные глазки котораго, безпрерывно мигая, юрко, какъ мышки, бѣгали по сторонамъ, ни на секунду не останавливаясь ни на одномъ предметѣ и противъ его собственной воли обличая, что подъ этою шутовскою личиною скрывается если не вполне нормальный умъ, то

достаточная доля лукавства. Фамилии этого субъекта Никоша никогда не слыхаль, да врядь ли тотъ и самъ ее еще помнилъ, такъ какъ никто не величалъ его иначе, какъ Романомъ Ивановичемъ; извѣстно было только, что онъ изъ захудалыхъ дворянъ и давнымъ-давно обжился въ Кибинцахъ въ качествѣ приживальца, пока окончательно переселившійся туда изъ Петербурга Дмитрій Прокофьевичъ не возвелъ его въ свои придворные шуты. Передъ однимъ лишь Василюмъ Аѳанасьевичемъ Гоголемъ, обходившимся съ нимъ, по благодущію своему, какъ равный съ равнымъ, этотъ рыцарь юродиваго образа съ глазами-глазъ приподнималъ иногда свое шутовское забрало.

— Скажите-ка по совѣсти, любезнѣйшій, — спросилъ Василій Аѳанасьевичъ: — эта травля на бѣднаго Варѳоломейку — не вашихъ рукъ дѣло?

— Не нашихъ рукъ, но нашего ума! — съ важностью отвѣтствовалъ шутъ, тыкая пальцемъ себя въ лобъ. — Плодъ зрѣлыхъ размышленій.

— Но чѣмъ онъ опять проштрафился?

— Какъ чѣмъ-съ? Въ сей высокаторжественный день, еще до святой обѣдни, дурачина на себя птичью аммуницію напялил!

— Да вы сами-то, поглядите, въ какой аммуниціи?

— Въ повседневной-съ; и онъ оставайся до поры до времени въ своемъ казенномъ балахонѣ. Смѣхотворствуй, Господь съ тобой: смѣхъ преть изъ тебя зачастую не отъ полноты сердца, а отъ

пустоты желудка; анъ нѣтъ вѣдь, семинарскою мудростью своею, всякими рыбьими словами въ носъ тебѣ фыркаеть!.. А что, ваше благородіе,—перешель Романъ Ивановичъ совершенно неожиданно изъ благородно-негодующаго въ просительный тонъ:—не найдется-ль у васъ въ карманѣ завалющаго рублика для бѣдной сиротинки?

— Это вы-то сиротинка?

— Мы-съ: ни отца, ни матери, ни кума, ни кумушки; яко благъ, яко нагъ, яко нѣтъ ничего. Не найдется-ль хоть полтинничка?

— Къ величайшему въ ш е м у сожалѣнію, и полтинничка не отыскивается,—отпугутился Василій Афанасьевичъ.—Однако хорошаго понемножку:

«Иди, сыну, иди, сыну,  
Иди, сыну. причъ видъ мене!  
Нехай тебе, нехай тебе.  
Нехай тебе москаль визьме!»

Романъ Ивановичъ ни мало не обидѣлся отказомъ, а весело затянулъ тотчасъ отвѣтный куплетъ:

—«Мене, мати, мене, мати,  
Мене, мати, москаль знае:  
Жить до себе, жить до себе  
Давно уже пидмовляе \*).»

Послѣ чего послушно отошелъ отъ окна. Въ дверь къ Никошѣ просунулась голова отца.

— А! проснулся тоже; но еще въ сыромъ ви-

---

\*) Изъ «Наталки-Полтавки».

дѣ. Одѣвайся, душенька, одѣвайся живѣе; сейчасъ, того гляди, гратулянты нагрянутъ.

Въ самомъ дѣлѣ, недолго погода, начался почти несмолкавшій затѣмъ въ теченіе двухъ часовъ грохотъ колесъ и топотъ лошадиныхъ копытъ отъ съѣзжающихся новыхъ «гратулянтовъ». Послѣднимъ пожаловалъ, какъ подобало, самый почетный изъ гостей, князь Николай Григорьевичъ Репнинъ, сановитый свитскій генералъ, котораго два ливрейныхъ лакея высадили подъ руки изъ громоздкой, но роскошной, съ княжескимъ гербомъ, колымаги. Теперь и нашему нѣжинскому дичку волей-неволей пришлось прикнуть къ поздравителямъ: блестящему воинству и расфранченнымъ «штафиркамъ», которые частью еще толпились, прихорашиваясь, въ просторномъ вестибюлѣ, частью же топтались на гладкомъ паркетѣ пріемнаго зала подъ огромными хрустальными люстрами, съ дѣланною радостью здороваясь другъ съ другомъ и съ непритворнымъ пренебреженіемъ озираясь на проталкивавшагося между ними подростка-гимназиста: «Ты что за гусь и откуда взялся?»

Тутъ, къ немалому своему удовольствію, Никоша углядѣлъ друга своего, Данилевскаго, прибывшаго вмѣстѣ съ отчимомъ, и первымъ дѣломъ, конечно, нашелъ нужнымъ подѣлиться съ нимъ своею новостью: что, очень можетъ быть, онъ, Никоша, будетъ также участвовать въ парадномъ спектаклѣ.

— Ничего, братъ, не слышу,—сказалъ Дани-

левскій, и, дѣйствительно, отъ отрывочныхъ восклицаній, шарканья ногъ и бряцанья шпоръ и саблей въ воздухѣ кругомъ стоялъ такой гулъ и гомонъ, что собственнаго слова нельзя было разобрать.—Пройдемъ—ка дальше.

Рука объ руку проскользнули они въ сосѣдную горницу—гостиную, но попали, что называется, изъ огня да въ полымя: на золоченой, обитой голубымъ бархатомъ мебели въ стилѣ Людовика XVI пестрѣлъ здѣсь самый пышный «дамскій цвѣтникъ», или, вѣрнѣе сказать, «птичникъ», отъ яркихъ красокъ котораго и сверкавшихъ всѣми цвѣтами радуги драгоценныхъ каменьевъ просто въ глазахъ рябило, а отъ звонкаго щебетанья въ ушахъ звенѣло. Гоголь поспѣшилъ оттащить пріятеля обратно въ пріемную:

— Назадъ!

Лавируя между взрослыми, мальчики кое-какъ пробрались до одного угла комнаты, гдѣ около колонны съ большимъ бронзовымъ бюстомъ императрицы Екатерины II оказалось для нихъ еще свободное мѣсто. Тутъ изъ смежной гостиной донесся слегка дребезжащій мужской голосъ, въ отвѣтъ на который, подъ шелестъ шелковыхъ платьевъ, зазвенѣлъ цѣлый хоръ привѣтливыхъ женскихъ голосовъ.

— Дмитрій Прокофьевичъ! — пронеслось по всей пріемной, и поздравители, какъ по волшебному мановенію, разомъ отхлынули съ середины комнаты на двѣ стороны, чтобы оставить широкій проходъ для хозяина, показавшагося теперь



Дмитрій Прокофьевичъ  
ТРОЩИНСКІЙ.



на порогѣ подѣ руку съ именинницей-племянницей.

Семьдесятъ лѣтъ жизни съ неизбѣжными въ старости тѣлесными недугами и долголѣтніе государственные труды и заботы не могли, разумѣется, не наложить и на Трощинскаго своего неумолимаго отпечатка. Но свѣже-выбритый, завитый въ мелкія кудряшки и затянутый въ расшитый золотомъ мундиръ, въ звѣздахъ и александровской лентѣ, онъ выступалъ сегодня такъ бодро, съ такою побѣдоносною улыбкой, точно велъ невѣсту подѣ вѣнецъ. И Ольга Дмитріевна, видимо, умѣла цѣнить выпавшую ей честь: стройная и воздушная, съ распущенными по плечамъ великолѣпными, каштановаго цвѣта локонами, сіяя молодостью и красотою, она осыпала всѣхъ и cadaго изъ своихъ большихъ карихъ глазъ такими счастливыми, ласковыми взглядами, точно она не супруга почтеннаго генерала, а институтка, которую сейчасъ вотъ наградили шифромъ.

Вельможный дядя ея былъ менѣе расточителенъ: только избранныхъ онъ удостаивалъ пары милостивыхъ словъ, другимъ же мимоходомъ едва головой кивалъ, а иныхъ и вовсе не замѣчалъ. Къ числу послѣднихъ принадлежали и наши два гимназиста.

По окончаніи церемоніальнаго обхода, всѣ двинулись чинно, слѣдомъ за хозяиномъ, въ домовую церковь. Служба церковная совершалась съ возможною торжественностью; домашніе пѣвчіе на клиросѣ изъ силъ надрывались, чтобы угодить



своему сановному патрону. Но Гоголю было не до пѣвчихъ: замѣтивъ промелькнувшую въ боковомъ придѣлѣ фигуру мѣстнаго дьячка, онъ шмыгнулъ за нимъ, чтобы заручиться у него на всякій случай платьемъ для роли Хомя Григоровича; а затѣмъ, возвратясь на свое мѣсто, сталъ истово молиться съ колѣнопреклоненіемъ и земными поклонами.

— Я знаю, о чемъ ты сейчасъ молился,—тихонько шепнулъ ему Данилевскій, когда онъ наконецъ приподнялся съ пола.

— О чемъ?

— О томъ, чтобы Павла Степановича что-нибудь задержало до конца спектакля.

— Ну, да!

— А что же ты покраснѣлъ-то? Но если его до сихъ поръ нѣтъ, то, конечно, уже не будетъ.

Наступило время обѣда, а о неисправномъ актерѣ все еще не было ни слуха, ни духа. Молодой замѣститель его совсѣмъ уже приободрился и, сидя со своимъ пріятелемъ на одномъ концѣ накрытаго покоемъ (литерою П), необозримаго обѣденнаго стола, съ тайною гордостью озирался по сторонамъ: «погодите вы, болтайте, шумите; вотъ ужъ всѣ разомъ замолчите, уши развѣсите, хлопать мнѣ станете. Да помню ли я еще свою роль?»

И, сквозь неумолчный говоръ сотни обѣдающихъ, сквозь стукъ ножей и вилокъ, звонъ бокаловъ и стройные звуки домашняго оркестра на хорахъ, въ головѣ его проносились фраза за фразой изъ «Простакъ».

— Нельзя ли потише, господа! Дайте послушать его высокопревосходительства!— замѣтилъ кто-то изъ гостей въ одну изъ паузъ оркестра, и гамъ кругомъ улегся, всѣ взоры направились къ центру стола, гдѣ, между именинницей и самымъ именитымъ гостемъ, княземъ Репнинымъ, возсѣдалъ хозяинъ.

— Да-съ, милостивые государи и милостивыя государыни, — говорилъ Дмитрій Прокофьевичъ приподнятымъ тономъ, сообразно высокому предмету его рѣчи, — незабвенная Фелица наша особливо благоволила къ «принцамъ мысли» (ея собственное выраженіе), къ каковымъ несомнѣнно принадлежалъ и французъ Дидро. «Я сама страдаю легисманіей» (маніей законодательства), — писала она ему, — «но имѣйте въ виду, что вы, господа, работаете на бумагѣ, которая все терпитъ; вашей фантазіи, вашему перу нѣтъ препонъ; бѣдная же императрица трудится надъ человѣческой шкурой, которая зѣло чувствительна и щекотлива».

— Какъ вѣрно сказано, какъ остроумно! — слышались кругомъ голоса.

— А кстати, дяденька, — обратилась къ Трощинскому Ольга Дмитриевна: — случалось ли вамъ тоже обѣдать за интимнымъ столомъ покойной государыни?

— О! и не однажды. За полчаса до выхода ея величества всѣ удостоенные таковой чести имѣли быть уже, по регламенту, въ сборѣ въ бриллантовой комнатѣ, разумѣется, въ подобающемъ гар-

деробѣ. Вдругъ двери настежь, камердинеръ Зотовъ даетъ ордеръ съ порога: «Крышки!» Крышки съ блюдъ мигомъ долой, и входитъ сама государыня, въ сопутствіи либо калмычки, либо своихъ двухъ англійскихъ собачекъ.

— А приборы у всѣхъ были, вѣрно, золотые?

— Нѣтъ, у одной лишь императрицы; у прочихъ—серебряные. Зато относительно кушаньевъ она отнюдь не была требовательна. Такъ однимъ изъ любимыхъ блюдъ ея были русскія щи; и что же? Поставятъ, бывало, передъ нею горшокъ шей въ бѣлой салфеткѣ подъ золотой крышкой, и она, какъ сейчасъ вижу полной ручкой своей съ короткими пальцами беретъ этакъ золотую разливательную ложку и сама разливаетъ—сувреша толикихъ миллионовъ, коихъ вся судьба и счастье отъ нея зависятъ! И ласковымъ словомъ своимъ, ангельскою улыбкой простыя щи, фабулѣ подобно, обращаетъ для каждаго въ амброзію. Упражняясь въ дѣлахъ государственныхъ, она такъ же просто, безъ всякой помпы одѣляла достойныхъ подвижниковъ на поприщѣ государственности несчетными милостями...

— Къ каковымъ подвижникамъ принадлежали и вы?—подхватилъ князь Репнинъ. — Вѣдь, занимая уже высокій постъ, вы, Дмитрій Прокофьевичъ, были, кажись, еще совѣмъ небогатымъ человѣкомъ?

— Съ подлиннымъ вѣрно. О трудахъ моихъ на пользу отечества судить не смѣю. Могу лишь засвидѣтельствовать, что, нежданно, нега-

дано, сразу былъ выше золотымъ дождемъ осыпанъ.

— Какъ же это случилось? при какой ocasi? Разскажите, пожалуйста.

— А вотъ при какой. Сижу я однажды въ кабинетъ ея величества и компаную нѣкій меморандумъ по преподаннымъ мнѣ ею конъюнктурамъ. Сама государыня сидитъ вотъ такъ тутъ-же, насупротивъ меня, съ своей записной книжечкой, но безмолвствуетъ, дабы не прерывать нити моихъ соображеній. Незапно, среди гробовой тишины, слышу ея глубокой, мягкій голось:

«— Слушай, Трощинскій: о сю пору вѣдь не вѣдаю, есть у тебя какой достатокъ?»

«— Достатокъ, ваше величество? Есть,—говорю,—въ Малороссіи родовое имѣннице, да, все одно, какъ бы его и не было.

«— Что же, мало отъ него дохода?»

«— Никакого, государыня; для меня по крайней мѣрѣ. Я все отдалъ роднымъ.

«— Роднымъ! Такъ чѣмъ же ты самъ-то живешь?»

«— Щедротами вашего величества.

«Смолкла, наклонилась надъ записною книжечкой; взялся и я опять за перо. Вдругъ слышу: звонитъ она въ колокольчикъ.

«— Подать мнѣ карту западныхъ губерній!»

«Подали. Разложила она ее передо мною на столѣ.

«— Выбирай.

«Я такъ и вострепеталъ и вспрянулъ со стула.

«— Т.-е. какъ такъ выбирать, ваше величество?»

«— А такъ, въ ознаменованіе моего особаго къ тебѣ расположенія, выбирай, что больше приглянется.

«Вотъ она, фортуна-то, хватай за зубъ! Окинулъ я взоромъ карту, но совѣсть зазрила, и ткнулъ я перстомъ на Кагорлыкъ, маленькое мѣстечко въ Кіевской губерніи, ранѣе уже мнѣ приглянувшееся.

«— Вотъ-съ,—говорю,—Кагорлыкъ, коли будетъ на то вашего величества диспозиція.

«— Садись и пиши; а я тебѣ продиктую.

«Сѣлъ я и сталъ писать. И что же вы полагаете, милостивые государи и милостивыя государыни мои? Пожаловала она мнѣ съ Кагорлыкомъ и все Кагорлыкское старство да еще два другихъ въ придачу: Вербовецкое и Хрептьевское, Подольской губерніи \*) Могу ли описать вамъ приливъ чувствій, съ коими я преклонилъ тутъ колѣна передъ великодушнѣйшей изъ монархинь?»

Растроганный воспоминаніемъ о рассказанномъ имъ сейчасъ достопамятномъ случаѣ, старый вельможа отеръ себѣ рукою глаза. На мгновеніе за столомъ воцарилось почтительное молчаніе; вслѣдъ затѣмъ все кругомъ заговорило еще оживленнѣе прежняго.

— Но по кончинѣ Великой Екатерины, вы,

---

\*) Пожалованіе это состоялось 8 августа 1795 года.

кажется, точно также не были забываемы царскими милостями?—замѣтилъ Репнинъ.

— Даже безмѣрно, не по заслугамъ, не по заслугамъ-съ,—съ горделивою скромностью отозвался маститый сановникъ. — Блаженной памяти императоръ Павелъ Петровичъ, по своему женерозному темпераменту, соизволилъ отписать мнѣ въ Воронежской губерніи не много, не мало—30 тысячъ десятинъ и при оныхъ 2 тысячи душъ одного мужеска пола. Трезоровъ неодушевленныхъ и одушевленныхъ на бранный вѣкъ нашъ хватить!—заклучилъ старикъ съ самодовольной улыбкой; но тотчасъ, принявъ опять серіозный видъ, прибавилъ какъ-бы съ нѣкоторою горечью:— Сіи послѣдніе вообще знаки высочайшей признательности дѣроги мнѣ, конечно, не столько по ихъ вещественной цѣнности, сколько ради личнаго еще въ ту пору ко мнѣ монаршаго благоволенія и ласки.

— Простите, Дмитрій Прокофьевичъ,—возразилъ Репнинъ,—но вѣдь и нынѣ благополучно царствующій государь императоръ нашъ Александръ Павловичъ эstimуетъ васъ: вы уже отдыхали здѣсь, въ Кибинцахъ, отъ государственныхъ трудовъ, когда его величество призвалъ васъ обратно въ Петербургъ на отвѣтственный постъ министра юстиціи.

— Призвалъ, точно; но ненадолго, ненадолго...

Изъ груди старика вырвался тяжелый вздохъ.

— Потому что здоровье ваше было уже сильно потрясено, — старался поддержать его Реп-

нинъ:—оба лейбъ-медика:—Крейтеръ и Роджерсонъ—требовали вѣдь совершеннаго удаленія ва-шего отъ дѣлъ.

— Оба лейбъ-медика? М-да. А кто стоялъ позади ихъ? Возвышенный превыше всѣхъ «мужичекъ вездѣ и нигдѣ», коему былъ неудобень министръ, одинъ изъ всѣхъ не ѣздившій къ нему съ реверансами. Его величество однако, грѣхъ сказать, до послѣдняго дня не лишалъ меня своего благопріятства и уволилъ вѣрноподданнаго раба своего въ чистую при самомъ милостивомъ рескриптѣ... Господа! — возгласилъ Трошинскій, вставая съ приподнятымъ въ рукѣ бокаломъ:— да здравствуетъ всемилостивѣйшій государь императоръ нашъ и весь Августѣйшій Домъ его— ура!

Единодушное «ура!» прокатилось съ обоихъ концовъ стола, бокалы зазвенѣли, а оркестръ на хорахъ грянулъ громкій тушъ.

— Кого это онъ разумѣлъ подъ «мужичкомъ вездѣ и нигдѣ»?—тихонько спросилъ Гоголя Данилевскій.

— А, понятно, Аракчеева; неужели ты не догадался?—отвѣчалъ Гоголь, не разъ уже слышавшій отъ Дмитрія Прокофьевича эту оригинальную кличку, данную имъ своему могущественному и ненавистному недругу.





## ГЛАВА XIV.

### За бортомъ.

**Б**лагодаря массѣ разнообразныхъ блюдъ и тостовъ, обѣдъ длился добрыхъ два часа, и Гоголь сидѣлъ какъ на иголкахъ. Наконецъ-то хозяинъ подалъ знакъ, отодвинувшись со стуломъ, и все кругомъ приподнялось. Никоша былъ уже около отца.

— А что, папенька, не пора ли намъ гримироваться?

— Экъ загорѣлось!—отозвался тотъ и потрепалъ нетерпѣливца по головѣ. — Старику-амфитріону нашему надо еще вздремнуть часокъ, да и изъ гостей, я чай, многіе не прочь сдѣлать то-же послѣ столь обильныхъ яствъ и питій. А вотъ роль свою тебѣ, точно, не мѣшало бы еще подзубрить. Охъ, ужъ этотъ мнѣ Павелъ Степановичъ!

— На мой-то счетъ не беспокойтесь, папенька: знаю на-зубокъ.



Но самъ онъ былъ далеко непокоенъ. Пройдя во флигель, онъ захватилъ съ собою изъ комнаты отца всѣ принадлежности для грима; скинулъ для удобства казенный мундиръ и передъ стѣннымъ зеркаломъ, опытною рукой разрисовалъ себѣ сперва легкими морщинками лобъ и углы рта, подвелъ затѣмъ брови, а въ заключеніе приклеилъ усы и козлиную бородку.

— Параскевѣ Пантелимоновнѣ нижайшій добридень!—произнесъ онъ вслухъ голосомъ дьячка Хома Григоровича и съ умильной улыбкой отвѣсилъ поклонъ своему двойнику въ зеркалѣ.— Какъ есть Хома Григоровичъ! Ни за что не узнаютъ. Чудесная, право, штука—этакій гримъ, за которымъ ты какъ за непроницаемымъ щитомъ. А сердце въ груди все-таки ёкаетъ, колотится... Прорепетировать развѣ еще на всякій случай въ дѣйствиіи?

Кто со стороны наблюдалъ бы теперь за нимъ, какъ онъ громко говорилъ самъ съ собою, какъ съ уморительными ужимками, глупо хихикая, раскланивался передъ кѣмъ-то, какъ, потирая руки, садился за столъ, а потомъ въ смертельномъ страхѣ вскакивалъ снова, чтобы залѣзть подъ диванъ,—тотъ легко могъ бы принять его за помѣшаннаго.

Но тутъ, подъ диваномъ, репетиція внезапно прервалась. Изъ отцовской комнаты рядомъ донесся посторонній голосъ, отъ котораго у мальчика дыханіе сперло.

«Неужели все-таки Павелъ Степановичъ! Господи, помилуй! Да, онъ! онъ!»

— Да я еще съ утра, слышите: съ цѣтухами былъ бы здѣсь, кабы не проклятая рессора!—горячо оправдывался вновь прибывшій. — Дернула меня нелегкая завернуть въ сторону...

«Ой, не ходи, Грицю, на вечерници»,— пропѣлъ въ отвѣтъ Василій Аѳанасьевичъ.— Упусти лѣто по малину не ходятъ. Упустили вѣдь даже генеральную репетицію...

— Да что я вамъ, сударь, наконецъ, пѣшка, что ли дался?— пуще расходился Павелъ Степановичъ.— Доколѣ нуженъ, такъ «сдѣлайте божескую милость», а не нуженъ, такъ «убирайся къ чорту»? Я заставлю уважать себя...

— Ну, полноте, почтеннѣйшій! О какомъ-либо неуваженіи къ вамъ не можетъ быть и рѣчи. Сказать же по душѣ, паробокъ-то мой ужъ такъ-то зрадовался комедіантствовать съ нами! Будьте великодушны, пане добродію...

— Оце ще! Уступитъ свое мѣсто безбородому школьнику передъ всею знатью Украйны, можно сказать, это было бы не великодушіемъ, а малодушіемъ.

«Ни великодушія, ни малодушія вашего мнѣ не нужно!» хотѣлось крикнуть школьнику подъ диваномъ.

Но для этого сперва надо было выкарабкаться оттуда. Онъ сталъ выбираться; но что-то сзади его держитъ и не пускаетъ. Онъ ощупалъ за спиной рукою. Ну, такъ! Жилетная пряжка, злодѣйка, зацѣпилась, вишь, за паклю продавленнаго дивана—ни тпру, ни ну!

Въ это время Василій Аѳанасьевичъ заглянулъ въ комнату сына:

— Ну, Никоша, плохо наше дѣло... Да гдѣ-жь это онъ?—пробормоталъ онъ про себя.

— А не его-ль вонъ ноги торчатъ? — замѣтилъ вошедшій вслѣдъ за нимъ въ комнату Павелъ Степановичъ.—Знать, роль свою подъ привалкомъ повторяетъ? Вылѣзайте-ка, молодой чоловікъ, вылѣзайте, надо намъ поторговаться съ вами.

— Не могу...—глухо слышалось изъ-подъ дивана.

— Торговаться не можете? Эге! Аль завязли? Гай-гай! Ну, батенька Василій Аѳанасьевичъ, вы берите сыночка за одну ножку, я—за другую: авось, общими силами вытащимъ оттолѣ.

Имъ это, дѣйствительно, удалось, но съ пожертвованіемъ пряжки, которая такъ и застряла въ диванной паклѣ.

— Ну, что, батенька, кабы сія самая оказія съ вами на сценѣ приключилась?—говорилъ Павелъ Степановичъ.—Вѣдь это явно самъ рокъ васъ предупреждаетъ не лѣзть въ воду, не спросясь броду.

— Да я и не желаю уже лѣзть куда бы то ни было...

— Даже подъ привалокъ? Хе-хе! Вотъ и сговорились безъ всякаго торга. А мнѣ, признаться сказать, было-таки маленько жаль оставить васъ этакъ за бортомъ, не солоно хлебавши; вѣдь вы, я вижу, и фізіономію-то себѣ уже раскрасили и бородой разукрасили; повѣрьте, такъ жаль...

«Провались ты съ твоею жалостью!»

Впрочемъ, это не было произнесено вслухъ, а только подумано, съ тайнымъ, быть-можетъ, желаніемъ, чтобы это случилось еще за часъ назадъ,

Сорвавъ усы и бородку, Гоголь тщательно смылъ съ лица искусственныя морщины, а затѣмъ тихомолкомъ проскользнулъ въ паркъ. Всего охотнѣе онъ сейчасъ бы усѣлся въ отцовскую коляску и умчался безъ оглядки въ родную Васильевку. Но такъ какъ сдѣлать этого было нельзя, то онъ пошелъ бродить по парку.

Обширный кибинцскій паркъ былъ совершенн безлюденъ: въ виду предстоявшаго спектакля гостямъ было не догулянь я; а постояннымъ обитателямъ Кибинецъ — и того менѣе. Единственными живыми существами, попавшимися мальчику на его одинокой прогулкѣ, были два великолѣпныхъ бѣлоснѣжныхъ лебедя на большомъ зеркальномъ прудѣ. По ту сторону пруда виднѣлись приготовленія къ иллюминаціи и фэйерверку: саженный деревянный вензель, усаженный разноцвѣтными плошками, по бокамъ его—два деревянныхъ же колеса на высокихъ подставкахъ, а направо и налево отъ дерева къ дереву гирлянды цвѣтныхъ фонарей.

Но все это его теперь ни чуть не интересовало; а когда оба лебедя, обрадованные появленіемъ одного хоть гуляющаго, подплыли къ берегу за обычною подачкой, Гоголь, точно стыдясь ихъ, отвернулся и пошелъ обратно къ дому.

Глаза его были тусклы, но сухи, лицо, пожа-

луй, нѣсколько разстроено, но какъ-то черезчуръ неподвижно. Словно ничего не различая передъ собою, онъ шель сперва по дорожкѣ, а когда та круто взяла въ сторону отъ театра, двинувшася заднимъ фасадомъ въ паркъ, онъ, не измѣняя направленія, пошелъ впередъ по травѣ, пока не наткнулся на деревянную стѣну театра. Здѣсь силы какъ-будто разомъ его оставили, и онъ повалился ничкомъ въ густую, мягкую траву. Но какъ и прежде, онъ не плакалъ; съ добрыхъ полчаса лежалъ онъ пластомъ, какъ трупъ, не шевелясь, не дыша, и пролежалъ бы такъ, вѣроятно, еще долго, еслибы сквозь дощатую стѣну изъ театральной залы явственно не донеслись къ нему рукоплесканія и вызовы:

— Режиссера! Параску! Всѣхъ, всѣхъ!

Онъ приподнялъ изъ травы голову.

«Всѣхъ? Стало-быть, и Хому Григоровича? А-ахъ!.. Ну, и пускай, пускай! Дайте сроку, будетъ и на нашей улицѣ праздникъ...»

Онъ присѣлъ; но голова у него шла кругомъ, въ глазахъ рябило, и онъ снова опустился на траву.

— Э-э! такъ вотъ ты гдѣ? Ужели все время такъ-таки и пролежалъ здѣсь? — раздался надъ нимъ знакомый молодой голосъ

Гоголь повернулъ голову: надъ нимъ стоялъ Данилевскій.

— Такъ-таки и пролежалъ — отвѣчалъ онъ, сладко потягиваясь и зѣвая, — и выпался, я тебѣ скажу, какъ сорокъ тысячъ братьевъ! Чего я тамъ не видѣлъ?

— Какъ чего? Играли превосходно, особенно твой папенька и Александра Федоровна; ему отъ Дмитрія Прокофьевича поднесли лавровый вѣнокъ, а ей—великолѣпный букетъ и въ букетѣ браслетъ. Но финалъ еще впереди.

— Какой финалъ?

— Да я и самъ еще не знаю. Когда вызовы кончились, Трошинскій пригласилъ гостей за собою на дворъ къ «доморощенному финалу». На дворѣ же я замѣтилъ мимоходомъ какой-то чанъ съ водою и толпу народа. Идемъ-ка!

— Не охота мнѣ, право...

— Ну, полно жеманиться, душа моя, давай сюда руку.

И, за руку приподнявъ пріятеля изъ травы, Данилевскій повлекъ его изъ парка къ калиткѣ, выходившей на передній дворъ усадьбы.





## ГЛАВА XV.

### Доморощенный финаль.



На высококомъ крыльцѣ возсѣдалъ самъ Дмитрій Прокофьевичъ посреди цвѣтущей гирлянды разряженныхъ зрительницъ; позади ихъ плотною стѣной тѣснились зрители, военные и штатскіе; а подъ крыльцомъ, вокругъ арены дѣйствія—огромнаго, бо-тиведернаго чана, до краевъ налитаго водою—шумно толпились зѣваки изъ меньшей братіи: дворни и прислуги.

— Старики и бабы—назадъ, хлопцы—впередъ и слушай!—раздался съ вышины крыльца внушительный голосъ хозяина-царька.—Въ ознаменованіе нонѣшняго дня и ради вяцшаго плезира любезныхъ гостей моихъ имѣетъ быть сейчасъ между вами, ребята, мирная баталія, состязательное ратоборство. Вотъ у меня, видите, кошелекъ съ червонцами. Они—ваши, но должны быть заслужены, добыты изъ чана. Разъ! два! три!

Три червонца, одинъ за другимъ, сверкая въ лучахъ вечерняго солнца, полетѣли въ середину

чана и съ плескомъ исчезли подъ взбрызнувшею водяною гладью.

— Только имѣйте въ виду, ребята,—предупредилъ еще Дмитрій Прокофьевичъ,—что всѣ три червонца должны быть добыты за-разъ. Ну, что же, кто сдѣлаетъ починъ?

Шушукаясь, подталкивая другъ друга локтями, хлопцы въ нерѣшительности толпились около чана.

— Починъ дороже денегъ! Не я, такъ другой! — вызвался тутъ бойкій на видъ, чубастый малый и, протиснувшись къ чану, сталъ-было скидывать съ плечъ свитку.

— Не, не, хлопче, этого не полагается!—остановилъ его съ крыльца властный барскій окрикъ.— Полѣзай во всей аммуниціи.

— Полѣзай во всей аммуниціи!—злорадно загалдѣло кругомъ стоголосое эхо.

— Ну, и полѣземъ,—отвѣчалъ хлопецъ, навалился животомъ на край высокаго чана и съ мѣшковатою ловкостью деревенскаго гимнаста, упражнявшагося уже раньше на плетняхъ и заборахъ, шлепнулся въ воду обѣими ногами.

Каскадъ брызговъ, которыми онъ осыпалъ при этомъ окружающихъ, вызвалъ у однихъ брань, у другихъ хохоть. Вода подходила молодчику почти подъ мышки, такъ что достать со дна чана червонцы не представлялось ему иной возможности, какъ окунувшись туда съ головою.

— Господи, благослови!—произнесъ онъ, крестясь, и скрылся уже подъ водою.

Полминуты спустя, чубастая голова его выныр-



нула опять на поверхность. Вода бѣжала съ него ручьями, но въ каждой рукѣ онъ вертѣлъ съ торжествующимъ видомъ по золотому.

— Ова!

— Да сколько ихъ у тебя?—спросилъ его съ крыльца баринъ.—Никакъ только пара?

— Пара...

— А третій-то гдѣ же?

— Шутъ его знаетъ! Шарилъ я по дну, да такъ и не нашарилъ: воздуха въ жабрахъ не хватило.

— Такъ и распрощайся съ своими червонцами; бросай ихъ назадъ. Ну!

Прекословить не приходилось. Сквозь зубы посуливъ кому-то дьявола, неудачникъ съ понятнымъ ожесточеніемъ бросилъ обратно въ чанъ свою драгоценную добычу.

— Ты что тамъ, болванъ, дѣда своего поминашь? Вылѣзай вонъ, дай мѣсто другимъ!

Попытать свое счастье, дѣйствительно, двинулись къ чану уже двое новыхъ охотниковъ и принялись пререкаться объ очереди.

— Полно вамъ! Оба уже поспѣете выкупаться даромъ,—крикнулъ сверху баринъ.—Кто изъ васъ двухъ по рангу-то старше? Ты вѣдь, Василь?

— Я, батюшка ваше высокопревосходительство,—отвѣчалъ Василь, первый фореиторъ и фаворитъ барскій.

— Ну, значить, и полѣзай напередъ.

По своей профессіи наловчившись однимъ прыжкомъ взлетать на хребетъ коня, Василь съ неменьшею легкостью перекинулся черезъ край чана.

Умудренный однако опытом предшественника, онъ, прежде чѣмъ окунуться, втянулъ въ себя изрядный запасъ воздуха. Благодаря такой мѣрѣ, онъ имѣлъ возможность пробыть подъ водою вдвое долѣе, и когда показался опять оттуда, то хотя и не могъ произнести ни слова, но на ладони своей предъявилъ публикѣ три блестящихъ кружочка.

— Ай-да хватъ! Червонцы—твои!—возгласилъ Дмитрій Прокофьевичъ и ударилъ одобрительно въ ладоши.

Гости кругомъ подхватили, а народъ внизу такъ и заржалъ, заликовалъ. Десятки рукъ протянулись къ счастливцу, чтобы помочь ему выбраться на сушу.

Успѣхъ одного подзадорилъ десятокъ другихъ. Когда изъ барскаго кошелька три новыхъ червонца полетѣли въ воду, между состязующимися дошло чуть не до драки. Чтобы возстановить опредѣленную очередь, Трощинскому пришлось вовсе устранить отъ конкурса самыхъ задорныхъ.

Въ какой-нибудь часъ времени чуть не двадцать челоуѣкъ перебивало въ чанѣ, но послѣ фореитора Василя только трое съ тою-же удачей. Два шута хозяйскіе—Романъ Ивановичъ и отецъ Варѣоломей—стояли до сихъ поръ подъ самымъ крыльцомъ безучастными зрителями и по временамъ лишь обмѣнивались обычными колкостями.

— А что бы и тебѣ искупаться въ золотой купели, семинарская крыса?—присталъ опять Романъ Ивановичъ къ своему сопернику на шутовскомъ поприщѣ.

— Оголтѣлый!—коротко огрызнулся послѣдній, съ суровою гордостью древняго циника запахиваясь въ свой ветхій и неопрятный хитонъ.

— Фай, какой важный рыцарь! Аль чистоты своей жаль? «Пойдемъ въ церковь!»—«Грязно».— «Ну, такъ въ шинокъ!» —«Развѣ ужъ подь тыномъ пройти.»

Отецъ Вареоломей, лучше всякаго другого знавшій свою слабость къ крѣпкимъ напиткамъ, отозвался съ тѣмъ-же лаконизмомъ:

— Пустобрехъ!

— А ты кладезь мудрости: борода съ локо-токъ, а ума съ ноготокъ!

— Ну, будетъ вамъ, дуракамъ, чинами-то считаться,—вступился тутъ въ ихъ перебранку Дмитрій Прокофьевичъ.—И то, *patre illustrissime*, отчего бы и тебѣ трехъ золотыхъ не заработать?

— Солнышку нашему сіятелю, свѣту нашему совѣту!—отвѣчалъ нараспѣвъ, съ пояснымъ поклономъ, отставной дьячекъ, у котораго передъ вельможнымъ патрономъ вдругъ развязался языкъ.— На что мнѣ твое золото? Взирай на птицы небесныя: не сѣютъ, не жнутъ, а сыты бываютъ.

— Ай-да птица! подлинно райская!—подхватилъ Романъ Ивановичъ.—А за райскую птицу, ваше высокопревосходительство, трехъ золотыхъ, точно, маловато: у нея вѣдь очи-то завидушія, лапы загребушія, уста зеленò вино піюшія.

— Что-жъ, на чарочку прибавлю парочку,—усмѣхнулся Трошинскій и бросилъ въ чанъ еще два червонца.—Ну, что же, *patre*? Долго-ль намъ еще

ждать-то?

Несмотря на усмѣшку, слова его звучали такъ повелительно, что дальнѣйшее противорѣчіе ни къ чему бы не послужило.

— Богъ вымочить, Богъ и высушить, — покорно промолвилъ шутъ, подбирая полы рясы. — Подсобите, благодѣтели.

• «Благодѣтели» нашлись, и онъ очутился въ чанѣ.

— Ненавидящіе и любящіе, простите мя!

Пробыль онъ подъ водою сравнительно недолго; но, вмѣсто того, чтобы совсѣмъ приподняться онъ, сидя въ водѣ по горло, подышалъ немного и потомъ окунулся вторично. Когда вслѣдъ затѣмъ кудластая голова его снова появилась изъ воды, въ рукѣ у него оказались всѣ пять золотыхъ.

— Ахъ, каналья прекомплектная! — воскликнулъ Трошинскій. — Ты долженъ былъ добыть ихъ за одинъ пріемъ.

На плечо стараго царедворца легла маленькая женская ручка.

— Онъ такъ жалокъ, mon oncle! Сложите гнѣвъ на милость!

Непреклонный въ иное время въ своихъ рѣшеніяхъ старецъ окинулъ племянницу ласковымъ взглядомъ.

— Именинницѣ нѣтъ отказа. Можешь прикарманить! — коротко отнесся онъ къ шуту. — Ну-съ, а теперь, государыни мои, не будетъ ли съ васъ сей матеріи? Не пора-ль вамъ пріукраситься и къ танцамъ? Лови, ребята!

И на головы стоявшаго внизу народа посыпа-

лось оставшееся въ барскомъ кошелькѣ золото. Въ послѣдовавшей за этимъ нешуточной свалкѣ было болѣе помято реберъ, чѣмъ подобрано червонцевъ. Но дикая забава была въ духѣ времени и, судя по общему смѣху, пришлась всѣмъ по душѣ. Впрочемъ одинъ не смѣялся: Гоголь.

— Что это ты, Николаша, одинъ такой серьезный?—спросилъ его Данилевскій

— Да очень ужъ оконфужень.

— Чѣмъ?

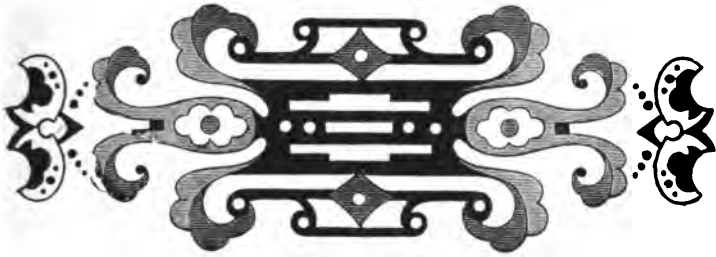
— Что до сихъ поръ не зналъ, какими способами древній Периклъ насаждалъ просвѣщеніе въ своихъ Аѣинахъ.

— Тише, братъ! Неравно самъ услышитъ.

— Или это Олимпійскія игры?

— Тише! говорятъ тебѣ...





## ГЛАВА XVI.

### Медвѣдь танцуетъ.

**Л**аркастическое настроеніе не покидало Го-  
голя и въ остальной вечеръ: толпившіеся  
въ дверяхъ танцевальнаго зала взрослые  
кавалеры съ недоумѣніемъ оглядывались  
на подростка-гимназиста, который, при-  
слонясь тутъ - же у стѣны, исподлобья  
задумчиво наблюдалъ за нарядными парами, кру-  
жившимися по залу подъ гремящую съ хоромъ  
музыку, и временами неожиданно, какъ изъ писто-  
лета, выпаливалъ какое-нибудь наивно-мѣткое за-  
мѣчаніе.

Впрочемъ, иногда онъ съ болѣе теплымъ уча-  
стіемъ слѣдилъ глазами то за своимъ пріятелемъ-  
гимназистомъ, который съ увлеченіемъ носился по  
паркету съ знакомыми и незнакомыми дамами,  
то за своею названною «сестрицей», которая хотя  
и не имѣла между танцорами почти ни одного зна-

комаго, но, обративъ на себя давеча общее вниманіе прекраснымъ исполненіемъ роли Параски, не могла теперь пожаловаться на недостатокъ кавалеровъ. Самой ей хмель заслуженнаго успѣха, какъ видно, ударилъ въ голову: всегда дичившаяся большого общества, она теперь стала просто неузнаваема,—все разгоряченное лицо ея такъ и сіяло почти дѣтскою радостью.

И вдругъ къ новому контродансу у нея не оказалось кавалера! Гоголь замѣтилъ издали, какъ она оживленно говорила съ другою барышней, стоявшею уже объ руку съ своимъ кавалеромъ, и растеряннымъ взоромъ обводила залъ, какъ-будто высматривая кого-то. Нашъ сатирикъ не могъ подавить не то ироническую, не то сострадательную улыбку. Но тутъ-же улыбка сбѣжала уже съ его губъ, и сатирикъ снова превратился въ buku-школьника.

Дѣло въ томъ, что на глаза Александры Федоровны попался онъ самъ, и, видимо обрадовавшись ему, какъ якорю спасенія, она тотчасъ поспѣшила къ «братцу».

— Пожалуйте, братецъ, пожалуйста! Васъ-то мнѣ и нужно. Кавалеръ мой куда-то исчезъ, и визави наши въ отчаяньи.

Она хотѣла взять его за руку, но онъ спряталъ обѣ руки за спину.

— Сестро моя милая, сестро моя любая! Я же, вы знаете, не танцую.

— Пустяки, пустяки! Давно ли вы писали изъ Нѣжина своей маменькѣ (она показывала мнѣ ваше

письмо), что скоро выучитесь отлично танцовать, если вамъ вышлютъ на то денегъ—не помню ужъ, сколько: 20 или 30 рублей?

— Мало ли что пишется!

— Когда нужны деньги для бонбошекъ? Какія, скажите, ваши любимыя? Помадныя вѣдь?

— Помадныя-съ.

— Такъ вотъ, когда будутъ подавать конфекты, я нарочно припасу для васъ помадныхъ.

— Да я, право же, хоть и взялъ нѣсколько уроковъ, но танцюю не лучше медвѣдя..

— А какъ же медвѣдю и танцовать, какъ не по-медвѣжьей? Вотъ подають уже сигналъ къ танцамъ. Давайте-ка руку!

— «И дощикъ иде, и метелице гуде,  
Дивчина казака черезъ юлищу веде»,  
мурлыкаль себѣ подъ носъ Гоголь, увлекаемый «дивчиной» въ рядъ танцующихъ.

Задача, предстоявшая ему, была не изъ легкихъ: въ тѣ времена французская кадрили не ограничивалась простымъ хожденіемъ и шарканьемъ ногъ, а каждый участвующій, какъ женскаго, такъ и мужскаго пола, старательно выводилъ отдѣльныя па. Пришлось выводить ихъ и Гоголю. Фигуръ онъ особенно не путалъ, потому что помнилъ ихъ еще съ Нѣжина, но въ каждой фигурѣ аккуратно хоть разъ наступалъ на ногу своей дамѣ.

— Ахъ, простите, сестрица!—извинился онъ, когда она даже вскрикнула отъ боли.

— Ничего, медвѣдю такъ и слѣдуетъ,—отшу-



тилась милая барышня.—Но у меня къ вамъ, братецъ, одна просьба: наступайте теперь на правую ногу, лѣвой пора отдохнуть.

— Съ удовольствіемъ. А бонбошки мнѣ за это будутъ?

— Сказано: будутъ.

Дѣйствительно, когда передъ послѣдней фигурой—галопомъ—ливрейный лакей въ бѣлыхъ нитяныхъ перчаткахъ сталъ обносить танцующимъ подносъ съ конфектами, Александра Ѳедоровна отобрала у него цѣлую горсть «помадныхъ» и вручила ихъ своему кавалеру, но—на свою же погибель: Гоголь обронилъ одну изъ конфетокъ; и вотъ, когда они пустились въ галопъ, нашъ медвѣдь тяпнулъ на конфетку, поскользнулся и, въ паденіи своемъ желая удержаться, увлекъ на полъ и свою даму.

Тутъ послѣднее мужество покинуло мальчика и, вскочивъ какъ встрепанный, онъ обратился въ постыдное бѣгство.

Послѣ такой оказіи ему, понятно, нельзя уже было носа показать въ танцевальный залъ, и онъ, какъ потерянный, слонялся по другимъ кибицскимъ палатамъ: постоялъ нѣкоторое время въ бильярдной около самого бильярда, пока одинъ изъ двухъ игроковъ, съ азартомъ всаживавшій въ лузы шаръ за шаромъ, съ розмаха не хватилъ его кіемъ въ грудь, вдобавокъ еще бросивъ по адресу «непрошенныхъ ротозѣевъ» «ласковое» слово; затѣмъ въ хозяйскомъ кабинетѣ поглазѣлъ въ карты отца, игравшаго въ бостонъ, пока тотъ точно также не

предложилъ ему отойти, потому-де, что онъ, Ни-коша, кажется, приносить ему несчастье.

— Тебѣ бы, дружокъ, пойти въ библіотеку,— посовѣтоваль Василій Аѳанасьевичъ, кивая ему на прощанье съ своей доброй улыбкой.

Лучшаго, въ самомъ дѣлѣ, нельзя было ничего предпринять. и Гоголь удалился въ библіотечную комнату. Людей тамъ не было ни души, а чтенія сколько угодно. Но пока ему было не до чтенія: въ зажатомъ кулакѣ у него горѣлъ еще липкій «помадный» комокъ. Присѣвъ къ открытому окошку, онъ принялся отлѣплять конфетку отъ конфетки и отправлять въ ротъ.

Сладкая «помада» по мѣрѣ ея уничтоженія нейтрализировала накопившуюся у него въ груди горечь; а ночная прохлада, вѣявшая къ нему въ окно изъ темнаго парка, тамъ и сямъ только просвѣчивавшаго цвѣтными фонарями, освѣжала его пылавшую голову. Когда же въ заключенье были еще облизаны и обтерты платкомъ ладонь и пальцы, душевное равновѣсіе Гоголя вполнѣ восстановилось.

Онъ всталъ и раскрылъ одинъ изъ многочисленныхъ книжныхъ шкаповъ, чтобы достать себѣ книгу. Но тутъ на нижней полкѣ на глаза ему попала втиснутая между двумя фоліантами большая конфетка въ нарядной золотой бумажкѣ.

«Эге! воровская добыча. Надо наказать глупаго воришку; а маменькѣ гостинецъ. Заразь два добрыхъ дѣла».

«Гостинецъ» исчезъ въ карманѣ. Въ это время

изъ-за оконъ грянулъ оглушительный, какъ-бы пушечный выстрѣлъ.

«Сигнальная ракета! Ну, что-жъ, отчего не посмотрѣть?»

Въ вестибюлѣ онъ съ трудомъ добрался до своей фуражки сквозь хлынувшую туда шумную толпу гостей. Молодые дамы и барышни наскоро накидывали мантильи на свои разгоряченныя танцами плечи; мужчины хватали безъ разбора, что подь руку попадется: кивера и простые картузы, цилиндры и офицерскія фуражки. Болтая и толкаясь, все разомъ устремилось на террасу, а оттуда къ большому пруду. Гоголь отдался общему теченію и въ двѣ минуты очутился тамъ же.

Картина, дѣйствительно, была роскошная, сказочная: весь берегъ кругомъ былъ унизанъ, какъ самоцвѣтными камнями, горящими лампіонами всѣхъ цвѣтовъ; на той сторонѣ пруда сверкалъ и переливался тысячами огненныхъ бриліантовъ колоссальный вензель съ инициалами именинницы и полностью отражался въ неподвижномъ водяномъ зеркалѣ. А вотъ къ темному ночному небу съ шипѣньемъ и трескомъ начали наперерывъ взлетать огненные жаворонки, бураки, римскія свѣчи, по бокамъ же вензеля бѣшено завертѣлись два потѣшныхъ солнца, разсыпая кругомъ снопы разноцвѣтнаго огня.

— *Magnifique! délicieux!*—слышались кругомъ звонкія восклицанія дамъ.

— Терпѣнія, *mesdames*: сейчасъ будетъ еще апоэозъ,—предупредилъ кто-то изъ мужчинъ.

— Какой апофеозъ?

— А балетъ наядъ.

И точно: едва потухли оба солнца и грохнули наземь ихъ деревянные подставки, какъ три громовыя ракеты возвѣстили нѣчто новое. Подъ нависшими вѣковыми грабами, кленами и орѣховыми деревьями вспыхнули бенгальскіе огни, таинственно озаряя окружающую листву и прудъ ярко-зеленымъ свѣтомъ; и тотчасъ откуда ни возьмись съ десятокъ воздушныхъ фей въ балетныхъ одѣяніяхъ—и съ берега въ воду!

Но что за диво! Какъ сверхъестественныя существа, онѣ не тонуть, а на водяномъ зеркалѣ исполняютъ фантастическій танецъ, подъ стать хоть столичнымъ балеринамъ. Удивленію и восторгу зрительницъ не было конца.

— «А ларчикъ просто открывался», — пояснилъ тотъ-же мужской голосъ:—подъ водою устроенъ дощатый полъ.

Гоголь, также заглядѣвшійся на волшебное зрѣлище, по привычкѣ, совершенно машинально полѣзъ рукою въ карманъ за леденцомъ; а такъ какъ вмѣсто такового тамъ оказался только «гостинецъ маменькѣ», то онъ со вздохомъ вынулъ содержимое и положилъ себѣ въ ротъ, а бумажку аккурратно сложилъ по-прежнему.

— А! и вы здѣсь, братецъ! — раздался тутъ около него голосъ Александры Ѳедоровны.—Хорошо вы со мною поступили, нечего сказать! И что это вы опять сосете, лакомка?

— «Воронѣ гдѣ-то Богъ послалъ кусочекъ сыру»,

отвѣчалъ Гоголь — Не угодно ли и вамъ, сестрица.

— Конфетка? И прехорошенькая!—восхитилась барышня, принимая приношеніе. — Да вѣдь это пустышка? Все тотъ-же школьникъ! Въ наказаніе вы нынче же еще должны протанцовать со мною экосезъ... Ахъ!

Взвившаяся надъ ними ракета разсыпалась мириадами пунцовыхъ, синихъ, золотыхъ звѣздъ. Совершенно ослѣпленная, Александра Ѳедоровна закрыла на секунду глаза. Когда же она ихъ опять раскрыла, то школьника возлѣ нея и слѣдъ простылъ.

Послѣ фейерверка танцы возобновились и продолжались вплоть до ужина, поданнаго въ третьемъ часу ночи. Но тщетно Александра Ѳедоровна искала глазами своего сбѣжавшаго танцора, тщетно справлялась объ немъ за ужиномъ и у его родителя. Послѣднему впрочемъ было не до сына: благодаря отмѣннымъ и разнообразнымъ винамъ за ужиномъ, фантазія и краснорѣчіе Василя Аванасьевича, этого перваго во всемъ околоткѣ рассказчика, развернулись еще блестяще обыкновеннаго и собрали около него цѣлый кружокъ слушателей. Когда же, по окончаніи всего праздника, онъ отправился наконецъ черезъ дворъ въ свой флигель, то нашелъ здѣсь сына заснувшимъ въ сидячемъ положеніи на диванѣ, а въ рукахъ у него — лавровый вѣнокъ, поднесенный на спектакль самому отцу-режиссеру. Мальчикъ спалъ такъ крѣпко, что не сознавалъ, какъ отецъ осто-

рожно приподнялъ его ноги, какъ уложилъ его горизонтально, подъ голову подсунулъ ему подушку. а на голову возложилъ ему свой собственный лавровый вѣнокъ со словами:


— Дай тебѣ Богъ, сынку, дай тебѣ Богъ!



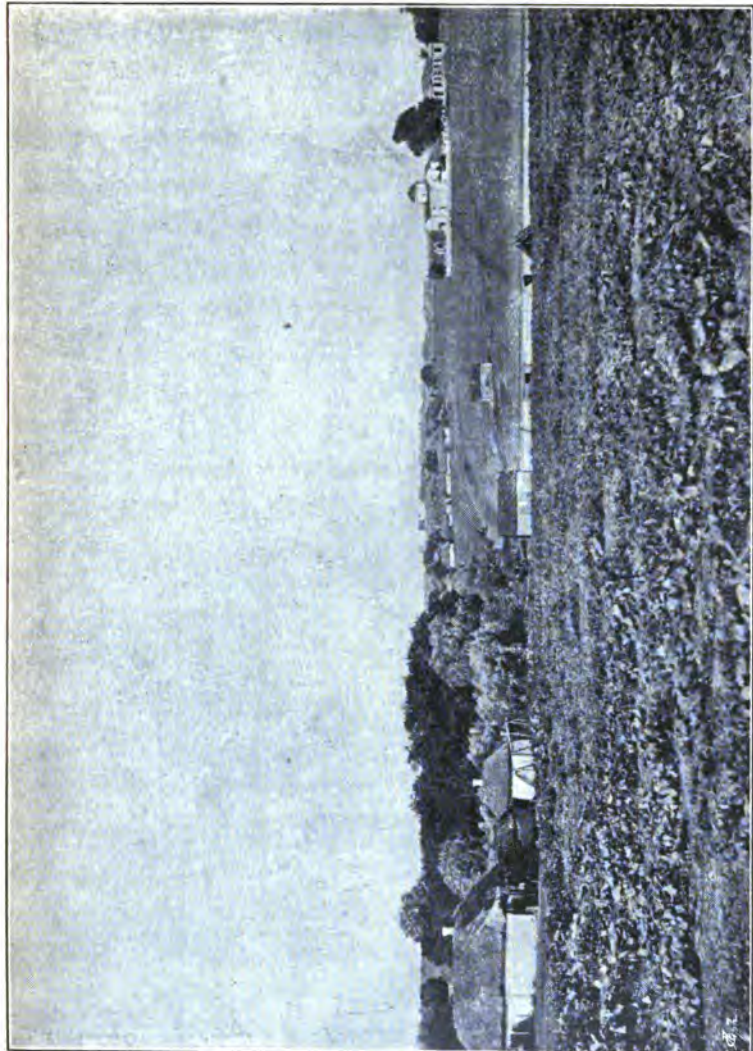


## ГЛАВА XVII.

### Горе надвигается.

льгинъ день былъ кульминаціоннымъ пунктомъ нынѣшнихъ вакацій молодого Гоголя. Мирная сельская жизнь въ Васильевкѣ текла свѣтлымъ ручьемъ въ цвѣтущихъ берегахъ, однообразно и сонно журчащимъ по мелкимъ камнямъ. Взятые съ собой изъ Нѣжина учебники преспокойно отдыхали на полкѣ и постепенно покрывались густымъ слоємъ пыли. Позаимствованныя изъ кибицкой библіотеки книги литературнаго содержанія также читались не очень-то усердно. Зато тѣмъ охотнѣе работалось въ саду вмѣстѣ съ папенькой, у котораго имѣлся неистощимый запасъ воспоминаній о собственныхъ своихъ бурсацкихъ годахъ и стародавнихъ сказаній о милой имъ обоимъ Украинѣ.

Въ особенно же жаркіе дни, когда самъ Василій Аѳанасьевичъ спасался отъ палящаго зноя



**Васильевка съ Полтавской дороги.**





за закрытыми ставнями дома, сынокъ его предпочиталъ отдыхать подъ открытымъ небомъ: неподвижно по цѣлымъ часамъ лежа на спинѣ подъ тѣнистымъ деревомъ или въ высокой степной травѣ, онъ слѣдилъ глазами за плывущими по небесной синевѣ ярко-молочными облаками, а самъ мечталъ — о чемъ? быть-можетъ о своихъ будущихъ гражданскихъ подвигахъ, пока чувство пустоты въ желудкѣ не напоминало ему о необходимости сдѣлать вылазку въ фруктовый садъ. Послѣдствіемъ каждой такой вылазки было отсутствіе аппетита за общею домашнею трапезой, такъ что Марья Ивановна серьезно сокрушалась «здоровъ ли Никоша? Ничего-то бѣдненькій не кушаетъ?» Но о здоровьи мальчика свидѣтельствовало его пополнѣвшее, загорѣвшее лицо, а еще болѣе та игривость, съ которою онъ при всякомъ случаѣ подтрунивалъ надъ прислугой и надъ своими сестричками, нерѣдко доводя послѣднихъ до слезъ.

Такъ незамѣтно подошла и осень, и неизмѣнная желтая коляска подкатила опять къ крыльцу. Благословенія, объятія, всхлипыванья...

— Довольно, маменька! Ужъ сколько разъ похристосовались. Не вѣчно же мнѣ киселемъ объѣдаться.

— Какимъ киселемъ?

— А въ вашемъ кисельномъ царствѣ. Кисель— это названіе собирательное для варениковъ, дынь и иныхъ прелестей. А кстати, маменька: вы хотѣли, кажется, дать мнѣ съ собой дынь?

— Подъ сидѣньемъ, родимый, ты найдешь полную корзину ананасовыхъ... Охъ-охъ-охъ! самыхъ спѣлыхъ, душистыхъ... Одну-то, не забудь, смотри, поднести Орлаю...

— Обязательно; а другую—мадамъ Зельднеръ: ублажить за пирожки.

— За какіе пирожки?

— А это у насъ съ нею свои счеты. Прощайте, папенька! Да что это вы? Полноте! Не навѣкъ, кажись, разстаемся.

— Какъ знать, дружокъ, какъ знать?—вздыхнулъ Василій Аѳанасьевичъ, усиленно также сморкаясь.—Четвертый годъ вотъ перемагаюсь, и чувствуетъ мое сердце, чувствуетъ, что скоро придется всѣхъ васъ покинуть, моихъ милыхъ...

— Господь съ тобой, Василій Аѳанасьевичъ! Я не переживу, не, переживу!—переполошилась Марья Ивановна и, обнявъ мужа, отъ наплыва горькихъ чувствъ залилась на плечѣ его слезами.

Это было какъ-бы сигналомъ для четырехъ дочекъ, которыя съ громкимъ ревомъ бросились къ обоимъ родителямъ.

— Ну, тутъ еще потопа дожدهшься!—буркнулъ сынъ, у котораго также заскребло въ горлѣ, и вскочилъ въ коляску.—Трогай!

И вотъ онъ опять въ Нѣжинѣ, вдали отъ своего родного «кисельнаго царства». Тѣ-же классныя занятія, тѣ-же задушевныя бесѣды въ свободные часы въ лазаретѣ съ Высоцкимъ, который съ осени снова сильнѣе страдалъ глазами. Бесѣды эти теперь чаще всего вращались около Петербур-

га, куда стремился, по окончаніи курса, восьмиклассникъ Высоцкій, куда вмѣстѣ съ нимъ, разумѣется, тянуло и шестиклассника Гоголя.

Но въ лазаретѣ у нихъ, вдали отъ взыскательныхъ взоровъ начальства, было такъ уютно, что понемногу примѣръ ихъ нашель подражателей, и лазаретъ какъ-то самъ собою обратился для пансіонеровъ въ нѣкотораго рода клубъ.

Профессоръ Билевичъ, неодобрительнѣе остальнаго начальства относившійся къ этимъ неуказаннымъ сборищамъ, счелъ нужнымъ обратить на нихъ вниманіе директора. Но Орлай, при всей своей любви къ порядку, взглянулъ на дѣло гораздо благодушнѣе.

— *Est modus in rebus, carissime* (всему есть мѣра, любезнѣйшій),—сказалъ онъ.—Всякому человеку надо иной разъ разстегнуться на распашку, а молодежи, которая растетъ не по днямъ, а по часамъ, тѣмъ паче. По вашему вѣдь настоянію, Михайла Васильевичъ, у нихъ отняли уже спектакли. Гдѣ же имъ наконецъ вздохнуть всюю грудью, какъ не въ своемъ тѣсномъ пріятельскомъ кружкѣ?

— Но вѣтреность юности...

— Отнимите у юности ея вѣтреность—и вы отнимете у старости много дорогихъ воспоминаній.

Такимъ образомъ «клубныя» собранія не были тронуты. Но для нашего нелюдима лазаретъ утратилъ уже прежнюю укромность, ему взгрустнулось опять по дорогѣ Васильевкѣ.

На Рождествѣ ему, точно, удалось побывать

тамъ; но зимою степной хуторокъ, занесенный со всѣхъ сторонъ снѣгами, былъ совсѣмъ не то, что лѣтомъ: нельзя было изъ дому шагу сдѣлать. А къ тому же и родители его оба недомогали; особенно осунулся въ лицѣ Василій Аѳанасьевичъ.

— Вотъ видите ли, папенька,—старался ободрить его сынъ:—сердце-то ваше обманулось: мы все-таки свидѣлись.

Василій Аѳанасьевичъ печально улыбнулся.

— Свидѣлись, душенька. Господу угодно было явить мнѣ еще сію послѣднюю льготу.

— Чтѣ вы, папенька! Вамъ всего вѣдь 44 года...

— Сходятъ со сцены, сынку, и въ первомъ явленіи трагикомедіи, именуемой земною жизнью; а 44 явленія—это, голубушка, далеко не всѣмъ смертнымъ дается; это—нѣкій бенефисъ.

Былой весельчакъ пытался по-старому шутить; но шутки у него не выходили, а занимательныхъ разказовъ о быломъ совсѣмъ не стало отъ него слышно. Упадокъ духа главы дома, естественно, отразился и на настроеніи всѣхъ домочадцевъ. Словно грозная туча нависла надъ родной Васильевкой, и Никоша былъ почти радъ, когда можно было ему снова возвратиться къ товарищамъ въ Нѣжинъ.

Но и здѣсь ожидало его мало радостей; масленица и Пасха безъ театра были ему уже не въ праздникъ. Надо было отыгаться на чемъ-нибудь другимъ.

Въ одну изъ классныхъ перемѣнъ расхаживавшій по коридору между воспитанниками, надзи-

ратель Зѣльднеръ слышалъ за своей спиной многоголосое, тихое пѣніе на простонародный мало-россійскій мотивъ. Ухо его уловило только два слова пѣсни: «журавлины ножки», но и по нимъ ему нетрудно было догадаться, что рѣчь идетъ о его собственныхъ «ходуляхъ», и онъ быстро обернулся.

Пѣніе тотчасъ прекратилось. Кругомъ стоялъ лишь рекреационный гулъ и гамъ. Егоръ Ивановичъ возобновилъ свою прогулку. Тутъ впереди его другая уже партія школяровъ затынула ту-же пѣсенку, и онъ могъ ясно разобрать конецъ ея:

«Той же чортикъ, шо въ болоти,  
Тилько приставъ рожки!»

— Halt! (Стой!)—крикнулъ онъ — Кто смѣла пѣть? Что пѣла?

Отвѣта по-прежнему не послѣдовало: пары, какъ ни въ чемъ не бывало, продолжали гулять мимо него, смѣясь и гуторя между собою.

Погрозивъ пальцемъ, надзиратель зашагалъ обратно по коридору. Глупая пѣсня тотчасъ повторилась за его спиною. Онъ — назадъ: тамъ все стихло; зато съ другого конца доносится игривый мотивецъ.

Зѣльднеръ остановился какъ вкопанный.

— Вамъ развѣ не нравится наша народная пѣсня, Егоръ Ивановичъ? спросилъ его Гоголь, ходившій по коридору объ руку съ Данилевскимъ.

Егоръ Ивановичъ взглянулъ на вопрошающаго, и внезапное откровеніе блеснуло молніей въ его омраченномъ взорѣ.

• — Народная пѣсня? Это, значить, опять ваши штуки, Яновскій!

— Помилуйте! Народная пѣсня сама собой родится, и весь народъ нашъ здѣсь ее, видите, ужъ распѣваетъ.

Надзиратель безнадежно махнулъ рукой и отошелъ отъ двухъ школьниковъ. Пѣсня сдѣлалась у гимназистовъ, дѣйствительно, настолько популярною, что и на другой, и на третій день ее распѣвали въ рекреацію; но Егоръ Ивановичъ, заложивъ руки за спину, вскинувъ кверху голову, словно ничего уже не слышалъ и равномернымъ шагомъ прохаживался по коридору взадъ и впередъ.

— А вѣдь, что ни говори,—замѣтилъ Данилевскій Гоголю,—у него большая выдержка и долготерпѣніе по-истинѣ нѣмецкое.

— Пожалуйте внизъ къ директору,—пригласилъ тутъ Гоголя подошедшій сторожъ.

— Внизъ? на квартиру?

— Точно такъ.

— Вотъ тебѣ и долготерпѣніе нѣмецкое!—обратился Гоголь къ Данилевскому.

— Нарывъ лопнулъ,—сказалъ тотъ.—Но я все же еще не совѣмъ увѣренъ, что тебя требуютъ изъ-за Егора Ивановича.

— Никакъ нѣтъ-съ,—вмѣшался сторожъ:—сейчасъ пришла почта, и господинъ директоръ какъ вскрыли одно письмо за черною печатью, такъ и послали меня за его благородіемъ.

— За черною печатью?..—пролепеталъ Гоголь,

чувствуя, какъ вся кровь у него отлила къ сердцу.

Данилевскій также поблѣднѣлъ, но постарался ободрить пріятеля:

— Не волнуйся, братъ, попустому. Очень можетъ быть, что то письмо не имѣетъ никакого отношенія къ тебѣ. Если хочешь, я пойду вмѣстѣ съ тобою...

— Нѣтъ, нѣтъ, оставайся. Тебя вѣдь не звали...

«Неужто изъ Васильевки?» говорилъ себѣ Гоголь, спускаясь по лѣстницѣ возможно медленнѣй, чтобы на нѣсколько хоть мгновений отдалить ожидаемую ужасную вѣсть, а на порогѣ директорской квартиры приостановился, чтобы перевести духъ. «Ну, чему быть, того не миновать!»

Стиснувъ зубы, сдвинувъ брови, онъ перешагнулъ порогъ.







## XVIII.

### Осиротѣль.



рлай въ видимомъ возбужденіи, съ понурою головой шагаль по своему кабинету и замѣтилъ вошедшаго пансіонера только тогда, когда подошелъ къ самой двери. Окинувъ мальчика быстрымъ взглядомъ, онъ молча и бережно взялъ его за руку, подвелъ къ дивану и усадилъ рядомъ съ собою. Вся эта безмолвная торжественность не предвѣщала ничего добраго.

— Вотъ что, дорогой мой,—заговорилъ Иванъ Семеновичъ необычайно серіозно и въ то-же время отечески-ласково, какъ-бы затрудняясь, съ чего начать.—Изволите видѣть... Всякое органическое созданіе на нашей планетѣ—будь то растеніе, животное или человѣкъ—имѣетъ свой земной предѣлъ, его же не преjdeши. Всякій изъ

насъ—и вы, и я, и всѣ насъ окружающіе—съ момента нашего рожденія впередъ уже, можно сказать, обречены къ смерти. Еще Сенека говорилъ: «Ты умрешь неминуемо уже потому, что родился» Горацийъ въ одѣ своей къ Люцію Сексту, какъ вы можетъ-быть припомните, выражается въ томъ же духѣ..

— Къ чему все это, Иванъ Семеновичъ?—то-скливо прервалъ тутъ директора-филолога Гоголь:—скажите просто: папенька умеръ?

Орлай остолбенѣлъ; потомъ съ живостью обнялъ мальчика, точно опасаясь, что тотъ лишится чувствъ.

— Вы, Николай Васильевичъ, вѣрно, видѣлись уже съ посланцемъ изъ деревни?

— Нѣтъ; но папенька давно хворалъ и имѣлъ предчувствія. Такъ это правда: онъ умеръ?

Вмѣсто отвѣта Иванъ Семеновичъ схватилъ съ сосѣдняго стола стаканъ сахарной воды, заранѣе, видно уже приготовленный, помѣшалъ въ немъ ложкой и подалъ Гоголю:

— Выпейте! Это очень успокаиваетъ; я самъ по себѣ знаю.

Гоголь отстранилъ-было стаканъ рукою и хотѣлъ приподняться, но Орлай не допустилъ его до этого и приставилъ стаканъ къ губамъ его:

— Сидите и пейте!

Пришлось повиноваться; двѣ выступившія на рѣсницахъ юноши слезы были единственными наружными знаками его душевнаго потрясенія. Сморг-

нувъ ихъ, онъ спросилъ какимъ-то черезчуръ уже безстрастнымъ тономъ:

— А когда и какъ это случилось?

— Скончался онъ нѣсколько дней назадъ, и не дома у себя въ деревнѣ, а въ Лубнахъ, гдѣ лѣчился. Да вотъ маменька ваша прислала вамъ письмо: вѣроятно, найдете въ немъ подробности.

Подробностей въ письмѣ Марьи Ивановны однако никакихъ не оказалось. Все оно заключалось изъ нѣсколькихъ безсвязныхъ, горькихъ фразъ. Это былъ вопль отчаянья окончательно растерявшейся матери семейства, лишившейся въ мужѣ главной опоры въ жизни. Въ послѣднихъ строкахъ своихъ глубоко-религіозная женщина призывала на сына благословеніе Божіе и выражала увѣренность, что Всевышній поддержитъ въ немъ сегдашнюю его твердость духа перенести безвозвратную потерю.

— Ну, что?—спросилъ Орлай, не сводившій глазъ съ читающаго.

— Ничего особеннаго...—пробормоталъ Гоголь и прокашлялся, потому что изъ глубины груди что-то неудержимо подступило къ горлу.—Кто привезъ письмо, Иванъ Семеновичъ?

— Дворовый человѣкъ вашъ Ѳедоръ.

— Можно мнѣ поразспросить его?

— Конечно, можно.

Иванъ Семеновичъ позвонилъ и велѣлъ кликнуть Ѳедора. Тотъ, войдя, тутъ-же бухнулъ въ ноги паничу, сидѣвшему еще на диванѣ, обнялъ

его колѣни и принялся цѣловать ему руки, орошая ихъ горячими слезами.

— Батечку паниченьку! Одинъ ты у насъ теперички кормилецъ .. Охъ, горечко наше тяжке.

— Ну, будетъ! Какъ тебѣ, братецъ, не стыдно? Не баба, слава Богу,—говорилъ паничъ, которому при видѣ искренней горести крѣпостного челоуѣка хваленая «твердость духа» готова была наконецъ также измѣнить.—Разскажи-ка все, какъ было, по-ряду..

— По-ряду-съ?—повторилъ Оедька, послушно приподнимаясь съ пола и утирая рукавомъ увлажненныя слезами щеки.—Давненько вѣдь ужъ хворать изволилъ у насъ покойный—о-хо-хо! (уготовь ему, Господи, въ горнихъ мѣсто злачное!), да не оченно-то довѣрялъ, знать, этимъ аптечнымъ лѣкарственнымъ снадобьямъ. Наѣздомъ развѣ въ Кибинцахъ съ дохтуромъ тамошнимъ по толкуеть, возьметъ отъ него лѣкарства, а самъ потомъ и не принимаетъ. Но тутъ, недѣль этакъ съ пять назадъ, кровь у него горломъ пошла. Последнее дѣло! Хошь-не-хошь, заложили бричку, поѣхали въ Кибинцы. Охъ, и не хотѣлось же ему въ тѣ поры ѣхать, сердешному!

— Что же, вѣрно предчувствіе у него опять было?

— Стало, что такъ: кому охота въ чужихъ людяхъ помирать! Но какъ и барынѣ не такъ-то можилось,—сама травку пила и не могла съ нимъ ѣхать, — то онъ напередъ уже ее, голубоньку, успокаивалъ: «Не тревожься, молъ, матушка, по-

пустому; можетъ, и долго тамъ пробуду, но постараюсь въ скорости вернуться..» Да такъ и не суждено ему было, горемычному!

Проглотивъ всхлипъ, Оедька повертѣлъ кулакомъ въ глазу, съ ожесточеніемъ дернулъ длинный мокрый усъ и сердито продолжалъ:

— И выдалась же, какъ на зло, дорога намъ каторжная, прости Господи: самая, что ни есть, распутица весенняя! Грязь по ступицу колесную. До Яресокъ еле дотащились и замочевали...

— До Яресокъ? Но вѣдь туда отъ насъ всего 6 верстъ?

— А вотъ поди-жъ ты! Да съ распутицею бы еще съ полугоря; но у папеньки отъ тряски дорожной, окромѣ прочаго, еще и грудь нестерпимо заломило. Не сидится ему, вижу, въ бричкѣ: то выпрямится весь, то рукой за грудь схватится, и все-то тихонько про себя стонетъ. «Можетъ», спрашиваю, «сидѣть тебѣ, милый пане, не хорошо?» — «Нѣтъ, очень хорошо», говоритъ, «но грудью страдаю ужас-но!» Да кабы ты, паничу, слышалъ только, какъ у него это вымолвилось: «ужас-но!» — все бы нутро въ тебѣ перевернулось.

— И такъ уже перевертывается... Не расписывай, пожалуйста! — съ подавленнымъ стономъ перебилъ рассказчика паничъ. — Ну, и добрались наконецъ до Кибинецъ?

— На вторыя сутки къ ночи кое-какъ добрались. Думали спервоначалу полѣчиться тамъ малость, недѣлку этакъ одну-другую, да и назадъ. Анъ не тутъ-то было! Осмотрѣлъ его дохтуръ,

головой покачалъ. «И въ полгода, моль, дай Богъ бы на ноги поставить.» Какъ быть? Въ Кибинцахъ у нихъ, самъ знаешь, народу прѣѣзжаго круглый годъ не оберешься, чистый базаръ: шумъ, веселіе, игрища всякія. А больному человѣку до игрищъ ли? И положили перебраться въ Лубны: благо, всего 20 верстъ оттолѣ, да уѣздный городъ, и дохтуръ-то знакомый, господинъ Голованевъ ..

— А Дмитрій Прокофьевичъ, что же, такъ сейчасъ и отпустилъ больного?

— Не хотѣлъ отпускать: всей душой вѣдь любилъ тоже покойнаго, заманивалъ его бостончикомъ, да какъ папенька самъ очень ужъ настаивалъ, то его высокопревосходительство отрядили отца Емельяна впередъ его въ Лубны къ господину Голованеву договорить квартиру. Домой папенька тѣмъ часомъ отписалъ маменькѣ, чтобы выслать ему въ Лубны всякихъ домашнихъ припасовъ, а буде можно—и повара; отписалъ еще, какъ плотину убережъ приказчику отъ половодья, что изготовить къ Свѣтлому Празднику, что къ ярмонкѣ,—словно передъ кончиною своею весь домъ свой хотѣлъ устроить. Да такъ вотъ и проститься-то со своими на смертномъ одрѣ не довелось, не только что нарадоваться на маленькую доченьку, что тѣмъ временемъ въ Васильевкѣ Богъ ему послалъ.

— Какъ?—вскричалъ Гоголь, вскакивая съ дивана. — У насъ еще одна маленькая сестрица?

— Да-съ, недѣли двѣ уже тому будетъ. Татьяною, Танечкой въ купели окрестили.

— Бѣдная маменька!—вырвалось у сына. — А тутъ еще похороны мужа.. Иванъ Семеновичъ! не отпустите ли вы меня къ ней въ деревню?

— Охотно отпустилъ бы, милый мой; но погребеніе вашего папеньки, вѣроятно, уже состоялось...

— Точно такъ, — подтвердилъ Ѳедька: — вчерась поутру его должны были погребсти..

— Вотъ видите ли, — сказалъ Орлай — Маменьку же свою вы и безъ того увидите на лѣтнихъ вакаціяхъ, до которыхъ уже недалеко Утѣшить ее можетъ только время; а для васъ, Николай Васильевичъ, теперь передъ экзаменами всякій день дорогъ и самымъ вѣрнымъ утѣшеніемъ будутъ служить усиленные занятія. *Labor improbus omnia vincit* \*).

Гоголь не могъ не признать справедливости замѣчанія директора.

— Такъ я пойду опять въ музей, Иванъ Семеновичъ.. — глухо проговорилъ онъ и закусилъ губу, чтобы не совсѣмъ распустить нервы.

— Ступайте, мой другъ, и главное — не предавайтесь слишкомъ вашему горю; слезами бѣды, все равно, не поправите.

— Я, Иванъ Семеновичъ, не плачу.

— Вижу и только удивляюсь такой силѣ воли въ ваши годы.

Не такъ взглянуло на сдержанность Гоголя большинство его товарищей. Не зная еще настоя-

---

\*) Неутомимый трудъ все побораеъ.

шей причины его вызова къ директору, они при возвращеніи его въ музей обступили его съ вопросами: зачѣмъ-де его вызывали?

— Отстаньте, ради Христа! — уклонился онъ отъ отвѣта и, не взглядывая, направился къ своему рабочему столу, гдѣ сталъ рыться въ книгахъ.

— Да у насъ, Яновскій закладъ идетъ, — не отставали отъ него любопытствующіе: — жаловался на тебя Зельднеръ или нѣтъ?

— Нѣтъ, у меня отецъ умеръ.

Проронилъ онъ это какъ-бы между прочимъ, невзначай, такимъ обрывисто-сухимъ тономъ, что товарищи озадаченно переглянулись: что это, опять одна изъ его глухихъ шутокъ? Но шутка совсѣмъ уже неумѣстная, возмутительная!

Одинъ Данилевскій, знавшій своего друга дѣтства ближе, готовъ былъ ему повѣрить и участливо заглядывая ему въ лицо, освѣдомился: правда ли это?

— Правда.. — отвѣчалъ Гоголь, не поднимая глазъ, въ которыхъ навертывалась снова непрощенная сырость. — Сейчасъ пришло письмо отъ маменьки.. Однако пропусти-ка.

И схвативъ ворохъ книгъ, онъ безъ оглядки удалился изъ музея. Вслѣдъ ему поднялся общій ропотъ:

— Нѣтъ, каковъ вѣдь! Отецъ родной померъ, а онъ хоть бы что, какъ съ гуся вода, даже не прослезился!

— Не всякому, господа, дано заливатьсѣ сейчасъ слезами, — вступился за ушедшаго Данилев-



скій — Онъ изъ тѣхъ людей, которые всякое горе свое замыкаютъ внутри себя.

— Значитъ, скрытная, холодная натура!

— Скрытная, но не холодная. Чѣмъ скрытнѣе человѣкъ, тѣмъ глубже онъ обыкновенно чувствуетъ. Но онъ дорожитъ своими священными чувствами и не выноситъ ихъ на базаръ, гдѣ всякій могъ бы трепать ихъ.

Въ справедливости этого замѣчанія старѣйшаго друга Гоголя, нѣсколько минутъ спустя, убѣдился его новѣйшій, но болѣе зрѣлый другъ, Высоцкій, когда пошелъ его отыскивать и нашелъ въ спальнѣ. Гоголь лежалъ ничкомъ на кровати, уткнувшись въ подушку. Всклиповъ не было слышно, но спина его нервно вздрагивала.

— Полно, дружище,—тихо проговорилъ Высоцкій, успокоительно кладя руку на голову своего разчувствовававшегося друга.

— Да я ничего... я такъ...—отозвался Гоголь, не показывая однако лица.

— И отлично. Мнѣ, видишь ли, надо въ городъ; такъ не пойдешь ли ты со мною?

— Нѣтъ. не хочется..

— Ну, пойдѣмъ! Въ такихъ случаяхъ не мѣшаетъ провѣтриться.

Гоголь сталъ было еще отнѣкиваться, но Высоцкій настоялъ на своемъ и безъ труда выхлопоталъ затѣмъ у дежурнаго гувернера для себя и Гоголя двухчасовой отпускъ въ городъ.

Пора для прогулки стояла благодатная—конецъ апрѣля. Немошныя улицы Нѣжина, раннею

весною и позднюю осенью представлявшія непролазное мѣсиво, настолько уже просохли, что наши два пріятели, засучивъ панталоны выше щиколки и перепрыгивая съ одного сухого мѣста на другое, довольно благополучно добрались до мѣстнаго Невскаго проспекта—Московской или Мостовой улицы (недавно переименованной въ Гоголевскую), единственной въ то время замощенной, но не камнемъ, а бревнами, положенными поперекъ дороги и гулявшими подъ экипажными колесами по мягкому грунту наподобіе клавикордныхъ клавишъ. Вѣявшій въ лицо свѣжій вѣтерокъ почти возстановилъ нарушенное душевное равновѣсіе Гоголя, но фланировавшая взадъ и впередъ по деревяннымъ мосткамъ, вдоль ряда лавокъ, отъ угла Магерской улицы до базарной площади, праздная толпа мѣстнаго «бомонда» своимъ беззаботнымъ говоромъ и смѣхомъ снова его взволновала.

— Уйдемъ отсюда куда-нибудь подальше!— сказалъ Гоголь, морщась: — эта чужая веселость для меня какъ ножъ къ горлу; точно они издѣваются надо мною!

— Куда жъ идти? Развѣ на греческое кладбище? Тамъ теперъ должно быть чудесно: зелень уже распустилась...

— Пойдемъ: среди мертвыхъ можетъ-быть отдохну душой отъ живыхъ.

И они взяли путь черезъ базаръ обходомъ на отдаленное, расположенное на другомъ концѣ города, греческое кладбище.

— Иди, братъ, иди, я догоню тебя,—сказалъ Высоцкій, останавливаясь передъ торговкой-еврейкой съ яблоками, до которыхъ, какъ зналъ онъ, Гоголь былъ большой охотникъ.

Но выборъ съѣдобныхъ еще яблокъ между массою гнилыхъ, которыя продувная дочь израилева старалась незамѣтно подсунуть молодому покупателю, потребовалъ столько времени, что, когда Высоцкій рассчитался съ продавщицей, пріятеля его и слѣдъ простылъ. Ускоривъ шагъ, онъ нагналъ его только на серединѣ моста черезъ рѣку Остеръ, отдѣляющую главную часть города отъ пригорода.

Опершись обѣими руками на деревянные перила моста, Гоголь такъ упорно заглядѣлся внизъ, въ протекавшую подъ мостомъ воду, что не слышалъ даже шаговъ подходящаго къ нему Высоцкаго. Тотъ съ недоумѣніемъ перегнулся также черезъ перила чтобы узнать, что могло такъ приковать вниманіе его друга. Но чрезвычайнаго тамъ ничего не оказывалось, развѣ лишь то, что Остеръ, въ лѣтніе мѣсяцы высыхающій до состоянія чуть не ручья и покрывающійся тогда зеленою «ряской», недавно вскрывшись отъ ледяной коры, былъ еще такъ многоводенъ, что на немъ развѣзжали даже три-четыре лодки.

— Чего ты тамъ не видалъ, дружище?—прервалъ Высоцкій размышленія друга.

Гоголь не перемѣнилъ положенія, не повернулъ даже головы.

— А вотъ соображаю,—отвѣчалъ онъ:—если

прыгнуть отсюда съ моста—можно ли потонуть, или нѣтъ?

Говорилось это съ такимъ оттѣнкомъ безнадежности въ голосѣ, что Высоцкій слегка даже всполошился.

— При желаніи можно потонуть и въ лужѣ — отозвался онъ тѣмъ саркастическимъ, убѣжденнымъ въ своей непогрѣшимости тономъ, который на другихъ пансіонеровъ оказывалъ всегда неотразимое дѣйствіе:—стоить только окунуться лицомъ и задержать дыханіе, пока не захлебнешься. Но ты-то. Яновскій, и здѣсь, въ рѣкѣ, не потонешь.

— Почему нѣтъ?

— Потому. что, попавъ въ эту ледяную ванну, тотчасъ караулъ закришишь.

— Ну, нѣтъ, не закричу. Столько-то у меня хватитъ силы воли. Въ первый моментъ, правда, будетъ очень холодно: но какъ только окоченію. такъ — полное, вѣчное забвеніе...

— Такъ что и не замѣтишь, какъ всплывешь опять наверхъ,—подхватилъ Высоцкій, —какъ тебя вытащутъ на берегъ, какъ поволокутъ въ полицію, разложатъ на столѣ и станутъ потрошить. чтобы узнать подлинную причину твоей смерти. Заманчивая, братъ, перспектива!

Стрѣла попала въ цѣль. Въ немногихъ, но рѣзкихъ чертахъ нарисованная Высоцкимъ «перспектива», ожидающая утопленника, настолько расхолодила, отрезвила Гоголя. что онъ разомъ оторвался отъ перилъ и большими шагами пошелъ обратно въ городъ.

— Куда же ты, Яновскій?— спросилъ, догоняя его, Высоцкій:— вѣдь мы хотѣли же съ тобою на греческое кладбище?

— Я раздумалъ,— отвѣчалъ, не замедляя шага, Гоголь.— Ступай одинъ и оставь меня...

— Я тебя такъ, извини, не могу оставить.

— Можешь преспокойно: ничего я надъ собою уже не сдѣлаю. Но прошу тебя, Герасимъ Ивановичъ: оставь меня! И, пожалуйста, никому обо мнѣ ни слова!

— Само собою. Но облегчи мнѣ хоть карманы: я нарочно накопилъ для тебя яблокъ.

— Спасибо, душа моя; ей-богу, не хочется.

Высоцкій не нашель уже нужнымъ настаивать и издали только слѣдилъ за молодымъ другомъ. Опасаться ему, дѣйствительно, было нечего: проходя мимо церкви, Гоголь вошелъ туда и пробыль тамъ около получаса, послѣ чего твердымъ шагомъ, съ поднятою головой, возвратился ближайшимъ путемъ въ гимназію.

На другое утро (23 апрѣля) дворовый Оедька повезъ въ Васильевку письмо такого содержанія:

«Не безпокойтесь, дражайшая маменька! Я сей ударъ перенесъ съ твердостію истиннаго христіанина. Правда, я сперва былъ пораженъ ужасно симъ извѣстіемъ; однакожъ не далъ никому замѣтить, что я былъ опечаленъ. Оставшись же наединѣ, я предался всей силѣ безумнаго отчаянія. Хотѣлъ даже посягнуть на жизнь свою; но Богъ удержалъ меня отъ сего. Вы однѣ теперь предметомъ моей привязанности, однѣ, которыя можете утѣ-

шить печальнаго, успокоить горестнаго. Вамъ посвящаю всю жизнь свою. Буду улаждать ваши каждыя минуты. Сдѣлаю все то, что можетъ сдѣлать чувствительный, благодарный сынъ.»

Въ слѣдующемъ письмѣ (отъ 26 мая) сынъ жаловался, что не получаетъ отъ матери ни строчки:

«Вы не знаете, что причиняете мнѣ своимъ молчаніемъ (писалъ онъ); вы не знаете, что отраваете каждую минуту мою жизнь. Считаю каждую минуту, каждое мгновѣніе, бѣгаю на почту, спрашиваю: есть ли хоть малѣйшее извѣстіе? Но, вмѣсто отвѣта, получаю: «нѣтъ!» и возвращаюсь съ печальнымъ видомъ въ свое ненавистное жилище, которое съ тѣхъ поръ мнѣ опротивѣло. Одна только мысль меня немного подкрѣпляетъ, немного утѣшаетъ горестнаго: скоро каникулы, и я увижусь съ вами...»

Отъ товарищей, кромѣ одного Высоцкаго, Гоголь по-прежнему тщательно таилъ свой внутренній міръ, но отношенія его къ нимъ замѣтно измѣнились: никого онъ уже не задиралъ, а въ свободные часы сторонился даже двухъ ближайшихъ друзей своихъ и искалъ уединенія въ самыхъ отдаленныхъ мѣстахъ обширнаго гимназическаго сада. И въ настоящее время въ этомъ саду указываютъ группу вѣтвистыхъ старыхъ липъ, на одной изъ которыхъ, по преданію, спасался нашъ схимникъ либо съ книжкой, либо съ карманною тетрадкой, въ которую заносилъ карандашемъ кое-что, не предназначенное для другихъ.

Только въ одномъ изъ дальнѣйшихъ писемъ къ матери (отъ 3 іюня) онъ проговорился, что привезетъ ей, кромѣ «хорошенькихъ картинокъ своей работы», еще и «нѣсколько своихъ произведеній».

Смерть отца произвела въ беззаботномъ школярѣ, очевидно, серіозный нравственный переломъ, почти совпавшій съ переломомъ въ его школьной жизни—переходомъ на университетскій курсъ, и такъ сказать подготовила въ немъ для этого курса духовную почву.



Въ книжныхъ магазинахъ продаются еще слѣдующія книги

## В. П. АВЕНАРИУСА:

---

### I.

#### „Три вѣнца“.

Романъ изъ временъ перваго самозванца. Ч. I. Царскій вѣнецъ. Ч. II. Терновый вѣнецъ. Ч. III. Брачный вѣнецъ. 537 стр. Цѣна 1 р. 50 к.

Отзывъ печати: „Этотъ романъ первоначально печатался въ „Книжкахъ Недѣли“ (1890 г.), и уже появленіе его при одной изъ лучшихъ нашихъ еженедѣльныхъ газетъ служить ручательствомъ за его литературныя достоинства. Г. Авенариусъ началъ литературную дѣятельность въ „Отечественныхъ Запискахъ“ въ 1865 г. хорошою повѣстью „Современная идиллія“. Затѣмъ романы и повѣсти его появлялись въ „Вѣстникѣ Европы“, въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, въ „Недѣлѣ“ и въ „Живописномъ Обзорѣннѣ“, но главнымъ образомъ онъ посвятилъ свою литературную дѣятельность подростящему поколѣнію, сотрудничая въ журналахъ для дѣтей. Его книги: „Отроческіе годы“ и „Юношескіе годы Пушкина“, а также „Книга былинъ“ и „Дѣтскія сказки“ пользуются большимъ успѣхомъ. Названный выше романъ, прежде всего, прочтется съ большимъ любопытствомъ и, скажемъ, съ пользою юношествомъ обоого пола“ („Русская Старина“).

### II.

#### „Гоголь гимназистъ“.

Первая повѣсть изъ біографической трилогіи «Ученическіе годы Гоголя». Съ рисунками. Цѣна 1 р. 25 к., въ пацѣ 1 р. 50 к., въ коленкор. переплетѣ съ золот. 2 р.

---



## III.

## „Книга былинь“.

Сводъ избранныхъ образцовъ русской народной эпической поэзіи. Изд. 4-е, съ портретомъ пѣвца былинь Рябинина, работы *Спрякова*, и рисунками *А. Прохорова* и *Н. Каразина*. Цѣна 1 р. 50 к., на велен. бумагѣ 1 р. 80 к., въ изящномъ колѣнк. переплетѣ 2 р. 50 к.

Отзывъ печати: „Кому неизвѣстны эти эпическія русскія произведенія съ ихъ оригинальнымъ, чисто-народнымъ языкомъ, смѣлыми, яркими и образными оборотами рѣчи, съ ихъ глубокою поэзіей? Намъ думается, что эта „Книга былинь“ можетъ оказать особія услуги въ качествѣ семейнаго чтенія, въ которому прислушиваются вечеромъ дѣти и взрослые, уютно собравшись за столомъ. Взрослыхъ поразитъ поэзія образовъ, удивительная сила и мягкость языка, тонкій юморъ, обиліе сравненій и параллелей, вызываемыхъ этими былинами въ человѣкѣ, знакомомъ съ памятниками и исторіей всеобщей литературы. Для дѣтей здѣсь впервые откроется міръ русскаго богатырскаго эпоса; разъ запавъ въ дѣтское воображеніе и память, могучія фигуры этого полумифическаго, полунсторическаго міра навсегда останутся въ нихъ впечатлѣнными. Народная поэзія даетъ каждому возрасту то, что можетъ быть имъ воспринято. Вотъ почему мы думаемъ, что „Книгѣ былинь“ должно быть отведено мѣсто во всякомъ русскомъ домѣ“ („*Москов. Вѣдомости*“).

## IV.

## „Дѣтскія сказки“.

Изданіе 3-е <sup>1)</sup>, съ рисунками *Н. Каразина* и др. Цѣна 1 р. 25 к., въ папкѣ 1 р. 50 к., въ изящномъ колѣнкор. переплетѣ 2 р.

Отзывъ печати: „Авторъ этой книги хорошо извѣстенъ своею прекрасною и широко-распространившеюся „Книгою былинь“. Новая

<sup>1)</sup> Двѣ изъ помѣщенныхъ здѣсь сказокъ: „О пчелѣ-Мохнаткѣ“ и „Что комната говоритъ“, написанныя на конкурсѣ спб. Фребелевскаго общества и удостоенныя, каждая въ отдѣльности, первой преміи этого общества, имѣли также по нѣскольку самостоятельныхъ изданій.

книга его состоитъ изъ трехъ отдѣловъ: 1) оригинальныя сказки: „Сказка о муравьѣ-богатырѣ“, „Сказка о пчелѣ-Мохнатѣ“ и „Что комната говоритъ“; 2) пересказы русскихъ простонародныхъ сказокъ и 3) пересказы иностранныхъ сказокъ. Лучшимъ отдѣломъ надо безспорно считать первый. Эти сказки—„оригинальныя“ въ полномъ смыслѣ этого слова; въ нихъ сказывается замѣчательный талантъ автора сочетать сказочный интересъ, быструю смѣну дѣйствій, живость разсказа съ дѣловитостью. Притомъ разсказъ проникнуть добродушнымъ юморомъ, вполне доступнымъ дѣтямъ; наконецъ юные читатели встрѣчаютъ безпрестанно вполне здравые и нравственные взгляды, которые естественно вытекаютъ изъ хода дѣйствія, а это, конечно, не то, что докучливая голая мораль, которою такъ часто донимаютъ дѣтей многіе писатели и писательницы дѣтскихъ разсказовъ. Пересказы русскихъ простонародныхъ сказокъ тоже очень удачны; иностранныя сказки почти всѣ граціозны и остроумны. Книга издана весьма изящно, на прекрасной бумагѣ, четкимъ шрифтомъ, украшена множествомъ рисунковъ, и ее можно рекомендовать какъ прекрасный подарокъ дѣтямъ“ („Женское Образование“).

---

## V.

### „Отроческіе годы Пушкина“.

Биографическая повѣсть. Изд. 3-е, 234 стран., съ портретомъ Пушкина и 8-ю рисунками. Цѣна: 1 р. 25 к., въ папѣ 1 р. 50 к., въ изящномъ коленкор. переплетѣ 2 р.

Отзывъ печати: „Написать повѣсть для дѣтей, хотя бы и старшаго возраста, изъ жизни Пушкина—не могло не казаться дѣломъ рискованнымъ, трудно выполнимымъ. Многіе несомнѣнно отнеслись недобѣрчиво къ предпріятію, изъ котораго, однако, г. Авенариусъ вышелъ съ честью. Все, что говоритъ и дѣлаетъ Пушкинъ, характеристика его товарищей, губернаторовъ, учителей, прислуги лицей, директора Малиновскаго, дяди поэта, А. И. Тургенева, А. К. Разумовскаго и другихъ лицъ,—основано на документальныхъ свидѣтельствахъ того времени. Такою-же историческою и археологическою точностью отличается описаніе лицей, его открытія, товарищескихъ бесѣдъ и шалостей, первыхъ литературныхъ попытокъ изданія лицейскихъ журналовъ, неудачной театральной попытки, заключенія поэта въ карцеръ съ пятью товарищами“ („Истор. Вѣстникъ“).

### „Юношескія годы Пушкина“.

Биографическая повѣсть. Изд. 2-е, 390 стр., съ 5-ю портретами и 3-мя картинками. Цѣна: 1 р. 75 к., въ папкѣ 2 р., въ изящномъ коленкор. переплетѣ 2 р. 50 к.

Отзывъ печати: „Отъ повѣсти г. Авенаріуса вѣетъ любовью къ Пушкину и его сверстникамъ, описываемымъ въ книгѣ, вѣетъ бодростью и свѣжестью, свойственными молодости. Читается эта книга съ интересомъ не только внѣшнимъ, которымъ она обязана бойкости пера г. Авенаріуса,—нѣтъ, тутъ дѣти находятъ и внутренній интересъ, приобрѣтаютъ серьезныя и обстоятельныя свѣдѣнія о молодости родного поэта, которые очень и очень пригодятся имъ для уясненія его творчества и развитія въ немъ поэтическаго гениа. Скажемъ болѣе: повѣсть г. Авенаріуса по своей глубокой, такъ-сказать, историчности должна занять одно изъ первыхъ мѣстъ не только въ дѣтской литературѣ, но ей предстоитъ занять весьма почетное мѣсто среди серьезныхъ историко-литературныхъ изслѣдованій“ („Русская Мысль“).

### „Васильки и Колосья“.

Разказы и очерки для юношества. Изд. 2-е, съ 22-мя портретами и рисунками. Цѣна: 1 р. 25 к., въ папкѣ 1 р. 50 к., въ изящномъ коленкор. переплетѣ 1 р. 75 к.

Отзывъ печати: „Съ истиннымъ удовольствіемъ прочли мы сборникъ В. П. Авенаріуса. Чтеніе этой книги вполне подтверждаетъ справедливость положенія, которое не разъ высказывалось нами: что „только талантливые писатели могутъ писать хорошія вещи для юношества и для дѣтей, и что талантливо написанная вещь для юношества или дѣтей будетъ читаться съ интересомъ и взрослымъ“. Имя г. Авенаріуса давно уже извѣстно въ нашей литературѣ, а также и въ литературѣ для дѣтей, и о талантѣ его нечего распространяться; мы ограничимся здѣсь лишь замѣчаніемъ, что въ рассматриваемомъ сборникѣ, въ незамѣливыхъ по большей части разказахъ, выказа-

лась въ особенномъ блестящій замѣчательная способность автора увлекательно разсказывать. Г. Авенариусъ, пересказывая даже чужіе разсказы („Дѣтскіе годы Моцарта“, „Сказаніе о Фритіофѣ“ и др.), дѣлаетъ это такъ искренно и тепло, какъ-будто бы самъ видѣлъ и испыталъ все разсказанное, и это придаетъ такую обаятельность простому въ сущности пересказу, что, начавъ читать, положительно едва можешь оторваться отъ книги. Лучшими и болѣе крупными вещами въ сборникѣ являются произведенія самого автора: „Меньшой потѣшный“, „На Яйлъ“, „Чѣмъ былъ для Гоголя Пушкинъ“ и „М. Ю. Лермонтовъ“. Несомнѣнно, что „Васильки и Колосья“ займутъ подобающее имъ мѣсто въ ученическихъ библіотекахъ, а также обратятъ на себя вниманіе всѣхъ родителей, заботящихся о разумномъ чтеніи своихъ дѣтей“ („Образованіе“).

### VIII.

#### „Листки изъ дѣтскихъ воспоминаній“.

Десять автобіографическихъ разсказовъ. Съ портретомъ автора и 14 отдѣльными рисунками *Н. Загорскаго* и *Т. Никитина*. Цѣна: 1 р. 50 к., въ папкѣ 1 р. 75 к., въ изящ. колѣн. переплетѣ 2 р. Выписывающіе изъ склада (Спб., Большая Подъяческая, д. 39, Товарищество «Общественная Польза»), за пересылку не платятъ.

Отзывъ печати: „Этотъ трудъ г. Авенариуса является такимъ-же цѣннымъ и солиднымъ вкладомъ въ нашу литературу, какъ и предыдущія его произведенія. Въ десяти разсказахъ изданной книги талантливый авторъ послѣдовательно излагаетъ біографію своего дѣтства, начиная съ 6-лѣтняго возраста и кончая тѣмъ временемъ, когда онъ держалъ переходный экзаменъ въ 5-й классъ гимназіи. При описаніи своего дѣтства, авторъ не прибѣгаетъ къ какому-либо вымыслу; нѣтъ у него и той приторной сентиментальности, которою многіе другіе писатели обыкновенно считаютъ долгомъ надѣлать своихъ юныхъ героев. Онъ передаетъ только то, что имъ дѣйствительно было пережито въ дѣтствѣ, и эта правдивость только увеличиваетъ интересъ его воспоминаній. Съ вѣшной стороны—книга издава очень изящно: крупнымъ шрифтомъ, на прекрасной бумагѣ и съ 14-ю отдѣльными рисунками *Н. П. Загорскаго* и *Т. И. Никитина*“ („Новое Время“).


## „Во львиной пасти“.

Историческая повѣсть для юношества изъ эпохи основанія Петербурга. Съ 19-ю рисунками *Р. Штейна* и снимкомъ съ современной гравюры. Цѣна 1 р. 75 к., въ папкѣ 2 р., въ изящн. коленк. переплетѣ 2 р. 25 к.

Отзывъ печати: „Не знаешь, чему дать предпочтеніе—тонкому-ли историческому чутью автора, умѣющему схватить духъ времени и придать смыслъ всякому, повидимому, самому ничтожному факту, или психологическому его пониманію жизни, благодаря которому душевныя движенія дѣйствующихъ лицъ принимаютъ характеръ законности и необходимости, или, наконецъ, рѣдкому таланту объективнаго повѣствованія и художественнаго воспроизведенія внѣшнихъ явленій и внутренняго міра. Авторъ повѣсти въ полной мѣрѣ обнаруживаетъ всѣ названныя достоинства, въ прекрасномъ сочетаніи дополняющія одно другое, и совершенно понятенъ тотъ громаднй интересъ, какой возбуждаетъ въ читателѣ эта историческая повѣсть. Она не читается, а проглатывается, или, вѣрнѣе, повѣсть поглощаетъ читателя,—и я-бы назвалъ ее „Львиною пастью“ по этой именно причинѣ“ („*Северный Вѣстникъ*“).

---

Послѣднія семь книгъ рассмотрѣны Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія и Учебнымъ Комитетомъ вѣдомства Императрицы Маріи и разрѣшены къ прибрѣтенію для учебныхъ заведеній обохъ вѣдомствъ.





**UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY  
BERKELEY**

**Return to desk from which borrowed.  
This book is DUE on the last date stamped below.**

5 Oct 51 BF

2 Feb 52 LU

13 Mar  
28 Mar 52

21 Nov '52 KF  
DEC 1 1952 LU

20 Oct '53 VL

24 Feb 54 LU

JUN 1 1954 LU

LD 21-95m-11, '50 (2877s16) 476





